

# МИХАИЛ ЩУКИН

ОИБИРИАДА

ОСИНОВЫЙ  
КРЕСТ  
УРЯДНИКА ЖИГИНА



Сибиряда

Михаил Щукин

# **Осиновый крест урядника Жигина**

«ВЕЧЕ»

2016

**Щукин М. Н.**

Осиновый крест урядника Жигина / М. Н. Щукин — «ВЕЧЕ»,  
2016 — (Сибириада)

ISBN 978-5-4444-9141-6

Огромен и необъятен Сибирский край. Едва ли не десяток губерний вмещает. Среди них – Ярская. В одной из ее волостей нес службу урядник Жигин. Исправно нес, жену любил, сынишку растил. Но пришла в их дом беда: заболел и помер сынок в одночасье, пока отец службу исполнял, а потом и жена куда-то пропала. Жигин, однако, не сдался и решил во что бы то ни стало отыскать любимую Василису. Но отправившись по наущению старой знакомой на золотой прииск, урядник даже не предполагал, в какой круговорот смертельно опасных событий он попадет!..

ISBN 978-5-4444-9141-6

© Щукин М. Н., 2016

© ВЕЧЕ, 2016

## Содержание

Часть первая. Средь бела дня и темной ночью	6
Конец ознакомительного фрагмента.	56

# **Михаил Щукин**

## **Осиновый крест урядника Жигина**

© Щукин М.Н., 2016

© ООО «Издательство «Вече», 2016

\* \* \*

## Часть первая. Среда бела дня и темной ночью

### 1

И впал бедолага от горького своего положения в бесшабашную лихость и неистовое веселье. Орал дурным голосом в полную ширину глотки совершенную несуразицу:

– Черви, крести, вини, бубны! Шилды-булды прокурат! Шары, бары, растобары, договаривай, камрад! Эх, раз, по два раз, расподмахивать горазд! Кабы чарочку винца, на закуску пирожка, для потешки девушку! Привет-салфет вашей милости!

Урядник<sup>1</sup> Илья Григорьевич Жигин потряхивал в руках жесткие, замерзшие вожжи, смотрел на заиндевелый зад своего коня и назад не оборачивался – за годы своей беспорочной службы он и не такое слышал, а уж виды видывал всякие. Потому и не было у него никакой надобности разглядывать беглого, который сидел за его спиной в легкой кошевке со связанными руками и продолжал орать, распугивая ворон на старых берегах.

Шустрым, пронирым, отчаянным до безрассудства оказался каторжный по фамилии Комлев: мало того, что сбежал с тюремного этапа в самые гиблые николевские морозы и умудрился не замерзнуть, он еще, между делом, обворовал в уездном городе бакалейный магазин и укрылся в дальней деревне, устроив там себе сладкую жизнь. Договорился с местным крестьянином, сунул ему часть украденных деньжонок и вселился в баню, стоявшую на отшибе, как в царские хоромы – сыт, пьян, и нос в табаке. Но разглядели приметливые соседи, что из банной трубы по два раза на день, а иной раз и ночью дым идет, заподозрили неладное, доложили старосте, а староста – уряднику. Пришлось Жигину снаряжаться по всей форме и ехать в дальнюю деревню, выслеживать Комлева, успевшего к тому времени сбежать и из бани. Выследил, настиг, и для начала, без лишних слов, сшиб ему рванный треух с головы одиночным выстрелом из револьвера, предупредил – не балуй! Комлев оказался понятливым – только и попросил разрешения треух подобрать. Нахлобучил его на голову и послушно протянул руки – вяжи, твоя взяла.

На всю эту канитель вместе с дорогой, туда и обратно, потратил Жигин целых пять дней, сегодня шел шестой, и он торопился поскорее оказаться дома. Тревожился за больного сынишку, захворавшего как раз накануне его отъезда. Будто сглазили мальчонку: утром бегал, резвился, а под вечер – сник. Правда, к ночи уснул, и спал тихо, и лоб был негорячий, но отцовское сердце все равно тревожилось, и Жигин все чаще шевелил вожжами конские бока, мохнатые от обильного инея.

Волостное село Елбань стояло на длинном сибирском тракте, и тракт этот рассекал его ровно посередине. Людное село, богатое, с двумя церквями, с постоялыми дворами, с торговыми лавками, с трактирами и кабаками – одним словом, бойкое место. Поэтому и хлопот уряднику во всякое время года выпадало выше головы. А начальник его, становой пристав<sup>2</sup> Вигилянский, нрава был строгого, можно сказать, даже сурового, и за любую промашку немедленно награждал выговором. Впрочем, и на благодарности за ревностную службу тоже не скупился. Не покусится и сейчас, надеялся Жигин, отметит за поимку Комлева, который натворил в уезде так много шума. Вот он сидит, голубчик, связанный, и продолжает орать свою несуразицу. Пусть покричит, может, ему так легче смириться со своей незавидной участью.

---

<sup>1</sup> Урядник – низший чин в уездной полиции.

<sup>2</sup> Становой пристав – полицейское должностное лицо, возглавлявшее стан – полицейско-административный округ из нескольких волостей.

Дорога между тем нырнула в неглубокий ложок, поднялась на взгорок, и нарисовались перед глазами, как на картинке, крайние дома Елбани, затянутые сизой морозной дымкой. Скоро Жигин разглядел и свою крышу, которую покрыл собственноручно в прошлом году железом и выкрасил в веселый зеленый цвет. Разглядел и решил, что казенная служба не потерпит большого убытка, если он заглянет сначала домой, хотя бы на минутку, узнает – как там Алешка? Потянул вожжу, направляя коня в исток ближнего переулочка, и удивился – что за оказия? Возле ворот его дома густо стояли люди. Екнуло сердце от недоброго предчувствия, а когда, подъехав ближе, увидел деревянный крест, прислоненный к стене, оно и вовсе скакнуло к горлу, пресекая дыхание.

Бросил Жигин вожжи, коня, беглого каторжника, выскочил из кошевки и побежал, взмывая ногами пухлый еще снег. Люди, стоявшие у ворот, молча расступились, он проскочил мимо не глядя, лиц не различая, и – в распахнутые настежь двери. Запнулся в темных сенях, чуть не грохнулся, но устоял, перешагнул порог и замер.

В переднем углу, на лавке, ярко белели свежеструганные доски маленького гробика, и тоненькая свечка, оплавая, оставляла на гладком дереве изгибистый восковой след, скатываясь к изголовью.

– Слава богу, дождались, теперь и похоронить можно, – раздался бабий голос за спиной Жигина, и остальные бабы стали всхлипывать, а кто-то завыл. Жигин различал слова, слышал женский плач, но смысла происходящего не понимал. Всмотривался в неподвижное лицо сынишки, и рука тянулась сама собой, чтобы стереть с детских щечек синюшные пятна.

– Время позднее, Илья Григорьевич, на кладбище пора, – снова раздался за спиной голос, теперь мужской, – мы и так два дня тебя дожидались. Пошли...

Жигин, не отзываясь, поднял легкий гробик на плечо и тяжело, осторожно двинулся к порогу, успев еще подумать: «А Василиса-то где?» Но оглядываться, искать глазами жену не стал, миновал темные сени и вышагнул в светлый проем на крыльцо, опущенное на перилах, как ему показалось, черным снегом.

## 2

Сердобольные соседские бабы вымыли полы в жигинском доме, прибрали посуду после поминок и тихо ушли, испуганно поглядывая на хозяина, который угрюмо сидел на лавке, повернувшись лицом к окну. Там, за окном, стояла беспросветная ночь и столь же беспросветной казалась Жигину его жизнь, в одночасье перевернувшаяся с ног на голову.

За шесть неполных дней, которые он отсутствовал, в доме его случились события столь пугающие, что он и сейчас не мог до конца в них поверить; по-детски надеялся, что встряхнет головой, сбросит наваждение и увидится ему, услышится, как и раньше: Алешка по дому носится, громко топая крепкими ножками, Василиса возле печи хлопочет, погромыхивает ухватом и сковородником, готовя обед...

Он дернулся, встряхнул головой и поднялся с лавки. Желтый свет керосиновой лампы ярко освещал пустой дом, и в нем не слышалось никаких иных звуков, кроме едва различимого потрескивания фитиля.

Вспомнилось вдруг, совсем некстати, как голосил сегодня во все горло каторжный, и Жигину тоже захотелось закричать тем же самым манером, но из памяти выскользнули словечки комлевской несусазицы, и он ударил со всей силы кулаком в распахнутую ладонь – что он еще мог сделать?!

От крепкого удара в голове будто прояснилось. И мысли стали не растерянными и суматошными, а четкими и ясными: все-таки полицейская служба – это не на лавке сидеть и семечки щелкать; научился держать себя в узде. Взял со стола лампу, вывернул подлиннее фитиль и пошел осматривать комнаты, заглядывая в самые дальние уголки, пытаясь одновременно уяс-

нить, разложить по полочкам все рассказы, услышанные сегодня от соседей, затем соединить их в один и понять – что же все-таки произошло?

И вот какая получалась картина.

На следующий день после его отъезда Алешке стало совсем худо, соседи по просьбе Василисы привезли фельдшера, и тот добросовестно просидел над кроватью до утра, поил мальчонку лекарствами и уверял, что ничего страшного не случится. Алешка и вправду ожил, повеселел, супчику похлебал и даже попросил свою любимую игрушку, деревянного раскрашенного коня, которого отец купил ему прошлым летом. С этим конем, в обнимку, он и уснул; Василиса, приморившаяся от суеты и беспокойства, тоже прикорнула рядом с ним, ночью беспрестанно вскакивала, прислушивалась – дышит ли? Алешка спокойно спал. А на рассвете жигинский дом располосовал дикий крик – Василиса, растопив печь, подбежала в очередной раз к сынишке, а он уже остывший...

На крик, как водится, собрались соседи, поднялся общий бабий вой, и мужики, чтобы не слушать его, ушли строгать доски для гробика и делать крест.

Приехал батюшка, отслужил печальный молебен и резонно посоветовал с похоронами не торопиться, а дожждаться Илью Григорьевича: должен ведь отец со своим дитем по-христиански проститься.

Так и сделали. Стали ждать отца.

Еще один день прошел, еще одна ночь минула. Утром приковыляли две старушки, чтобы читать поочередно, как наказал батюшка, Псалтирь над усопшим младенцем, поднялись на крыльцо и удивились – двери в дом, в такой-то сильный мороз, распахнуты настежь, а в самом доме хозяйки не видно. Гробик на прежнем месте, в переднем углу, под иконами как стоял, так и стоит, а Василиса не отзывается. Старушки – по комнатам, по углам, даже в подполье заглянули – нет нигде. Тогда они на улицу кинулись. Хлев, конюшню, пригон, баню – все оглядели. Пусто.

Тут и другие соседи всполошились, весь околоток поднялся. Но сколько ни звали, сколько ни искали – напрасно. Даже мало-мальского следочка нигде не отыскали, будто Василиса на воздухе поднялась и ничего после себя не оставила.

Не объявилась она и до нынешнего часа.

«Быть такого не может, – упорно думал Жигин, медленно передвигаясь с лампой в руке по комнатам, – не может человек, как бесплотный дух, летать, после человека всегда след остается». Он уже и деревянный шкаф проверил, перебрал в нем кофты и сарафаны Василисы, денежную заначку нашел, нетронутую; бусы, колечко золотое и серебряные сережки лежали в отдельной коробочке тоже в целости и сохранности. Куда ни заглядывал Жигин, никакой пропажи не обнаруживал. Но он в своем поиске не останавливался и, когда обошел все три комнаты, осмотрел печь и полаты над ней, отправился в сени. И там, разглядывая бочки, в которых хранились замороженные ягоды, увидел, что из-под днища одной из них торчит непонятный лоскут. Поставил лампу на пол, приподнял бочку и вытащил черный платок, который сразу же и признал. Василиса повязывала его на голову очень редко, когда надо было идти на чьи-то похороны или на поминки, повязывала всегда неохотно и даже боязливо, а хранила его, чтобы он лишней раз на глаза не попался, в укромном месте – в самом дальнем углу деревянного ящика, под старыми тряпками, которые Жигин ворошить почему-то не стал. Платок был в замерзших пятнах. Жигин помял их в пальцах и без труда определил, что это застыла кровь. «Значит, Василиса в этом платке была... Правильно, похороны, вот и повязала... – Жигин наклонился, чтобы поднять лампу с пола, но замешкался, приглядевшись, и опустился на колени. – Погоди, погоди, да этим платком, похоже, кровь затирали...» На строганых, но не крашенных досках смутно проглядывались такие же темные, как на платке, пятна.

Вот и отыскался следочек.



Жигин еще на раз оглядел сени, вернулся в дом. Расстелил на столе черный платок, сложил на нем крест-накрест руки и уронил на них тяжелую голову, даже не догадываясь, что за столь малый срок, всего лишь за неполный день, в густых волосах у него пробились первые седины.

### 3

Большое село Елбань – столица целой волости, а все равно, если разобраться, деревня деревней. И слухи здесь, как в любой деревне, разносятся мгновенно, будто их ветер перекидывает от дома к дому. Шел Жигин на службу и удивлялся: едва ли не каждый второй прохожий, попадавшийся навстречу, пытался выразить сочувствие, а в глазах у иных, неприкрытое, сквозило любопытство: куда жена урядника делась, неужели сбежала? В разговоры Жигин не вступал, кивал сдержанно, молча давая понять, что слова, обращенные к нему, слышит и благодарит за них.

И, не задерживаясь, шагал дальше.

Начальник его, становой пристав Вигилянский, встретил своего подчиненного, как всегда, строго. Выслушал доклад о поимке Комлева, помолчал, перебирая бумаги на столе, а когда перебрал и сложил их, неожиданно поднялся и одернул мундир. Сухим тонким голосом, будто читал параграф из длинной служебной инструкции, сообщил:

– За оставление арестованного без надлежащего караула, что повлекло за собой побег данного арестованного, вверенной мне властью объявляю выговор уряднику Жигину и предупреждение, что следующий проступок будет наказан увольнением от службы.

Сказав это, Вигилянский еще раз одернул мундир и сел, уперев руки в края столешницы. Мундир на нем был новый, темно-зеленого сукна, стоячий воротник упруго подпирали изрядно обвислые и широкие щеки. Телом пристав был сухим и поджарым, как гончая, а вот лицо – дряблое, с голубенькими, водянистыми глазами, и выражение на нем почти никогда не менялось – недовольство, даже угрюмость, редко-редко, лишь в особые минуты, расцветчивались скупой улыбкой. Но в этот раз пристав улыбаться не собирался. Не глядя на Жигина и продолжая упираться руками в столешницу, он прежним голосом, сухим и тонким, заговорил:

– Теперь и не знаю, что делать – докладывать исправнику<sup>3</sup> или нет? Мало того, Жигин, что ты без своей лошади и без кошевки остался, мало того, что Комлева упустил, ты еще лишних хлопот мне наделал...

– Как же я Комлева мог упустить, когда я его, по рукам связанного, в Елбань доставил? – изумился Жигин.

– Как? Каком кверху! Вот как! – Вигилянский оторвал руки от столешницы и взмахнул ими, словно собирался взлететь. – Да сядь ты, Илья Григорьевич, не торчи надо мной! Пока твой посыльный добежал, пока сообщил, пока я человека отправил – сколько времени прошло? Час-полтора – не меньше. И что за это время Комлев сделал, находясь без догляда? А он развязался, сукин сын! Видно, веревки перетер, пока в кошевке сидел. Повез его наш человек в арестантскую, а тут случай... Какой-то раззява со стогом сена ехал и на раскате с лошастью не управился – сани занесло... А другие раззявы рядом с дорогой костер развели, видите ли, замерзли они, погреться решили... Стог этот прямо на костер и опрокинулся! Пожар, суета, неразбериха. Комлев, не будь дураком, человека нашего по голове чем-то огладил, из кошевки выкинул и – под шумок, да с ветерком! Кинулись искать – его и след простыл... Остался ты без лошади и без кошевки, будешь теперь на свои деньги покупать...

– Не буду! – Жигин поднялся и вытянулся – руки по швам.

– Обоснуй! – коротко приказал Вигилянский.

---

<sup>3</sup> Исправник – высший должностной чин в уездной полиции.

– Пришел я просить, чтобы меня от службы отставили. Решил я так – уйти со службы.

Вигилянский резко вскинул голову, отчего обвислые брыли вздрогнули, и прищурил глаза; они уже не водянистыми, не синенькими были, а прямо-таки стального цвета – насквозь пронизывали. Но Жигин не дрогнул, хотя знал прекрасно, что такая поглядка пристава ничего хорошего не обещает. Сегодняшней бессонной ночью он принял бесповоротное решение – оставить службу и искать Василису. А еще он знал, что не успокоится и жизнь ему будет не в жизнь, пока не отыщет жену, живую или мертвую. На том и стоял, и сдвинуть его сейчас, как могучий пень, не было никакой возможности. Вигилянский – умный все-таки человек, бывалый – понял, что на крик и на испуг урядника ему не взять, и поэтому решил, что горячку сейчас пороть не стоит, пусть остынет...

– Даю тебе, Жигин, три дня отпуска, выпей хорошенько и спать ложись. Понимаю, что горе у тебя, да только службу нам по всякому горю, большому или малому, никто не отменяет. Ясно? Иди!

Жигин развернулся и вышел.

«Да хоть неделю давай отпуска, – сердито думал он, возвращаясь домой, – как я решил, так и будет, а заартачишься – такой фокус выкину, что за счастье посчитаешь от меня избавиться. Мне теперь Василиса важнее всего!»

В доме было пусто и тихо. Жигин снял шашку, висевшую у него через плечо на черной портупее, ремень с кобурой из глянцевого кожи, в которой лежал револьвер, и привычно повесил оружие в узкий простенок у входной двери, задернул занавеской. Место это для револьвера и для шашки он определил давно, чтобы находились они всегда под рукой – бывало, что из дома приходилось выбегать в спешке; схватил на ходу, а уж после ремень застегиваешь и портупею надеваешь... Не выбегать ему больше в спешке из дома и казенную шашку придется сдать, потому что, хорошо знал Жигин, уволенных из полиции на службу снова никогда не принимали. Ну и ладно...

Он переоделся в домашнее, сел за стол и разложил перед собой черный платок, найденный вчера вечером в сенях. Кровяные пятна оттаяли и высохли, стали почти незаметными. Жигин смотрел на них, будто ожидал, что они подскажут ему верное решение. Но решения никакого не появилось, и он даже представить себе не мог – с какого конца начинать поиски Василисы.

Так и просидел до самых сумерек, ничего толкового не придумав. Бережно сложил платок и отнес его в деревянный шкаф – пусть пока там постоит.

«Завтра надену старый полушубок вместо шинели и пойду по кабакам прогуливаться, может, какой слухок и дойдет, может, удастся за ниточку ухватиться», – думал Жигин и понимал, что надежды мало: урядника многие знают в лицо и переодевание не поможет...

Короткий стук в двери прозвучал осторожно и вкрадчиво, будто кто-то лапкой поскребся. Жигин поднялся из-за стола, прошел к двери и по дороге, на всякий случай, вытащил из кобуры револьвер, положил его в карман. Открыл дверь и отшагнул назад. Это что за явление? Легко перескочила через порог и встала перед ним, радостно улыбаясь и поблескивая шалыми глазами, бойкая девица. Щеки, прихваченные морозом, ярко алели, цветной полушалок сбился, и выскочили из-под него на волю рыженькие кудряшки. Девица дернула белые вязаные рукавицы, сунула их ловким жестом за отворот легонькой шубейки и, сжав кулачки, начала отогревать их своим дыханием, продолжая поблескивать широко распахнутыми зеленоватыми глазами.

– Кто такая? По какой надобности? – строго спросил Жигин и, не дождавшись ответа, добавил: – Дверь за собой закрой.

– Ой, я так застыла, даже потерялась! – Девица ловко прихлопнула за собой дверь и начала развязывать полушалок, – пока добралась до вас, Илья Григорьевич, насквозь промерзла, будто ледышка в животе катается!

И как только девица заговорила, как только рассыпался торопливым звоном ее голосок, так Жигин сразу же и признал – Марфа Шаньгина! Каким ветром ее сюда занесло?!

– Дело у меня к вам, Илья Григорьевич, неотложное, вот и явилась без приглашения, уж извиняйте меня великодушно, никак откладывать нельзя было. Знаю, что горе у вас, да дело не терпит. А давайте я самоварчик поставлю, чаю попьем, у меня, глядишь, и ледышка в животе растает...

Не дожидаясь согласия хозяина, Марфа крутнулась одним махом, и скоро на столе запыхтел самовар, чашки с блюдами появились, закуски, которые остались после поминок со вчерашнего дня – ловко, быстро управлялась девица, будто всю жизнь здесь хозяйничала.

Жигин смотрел исподлобья, как она крутится, собирая на стол, не останавливал, ни о чем не спрашивал, ждал, когда Марфа сама объявит – какая причина ее сюда привела. Догадывался, что причина нешуточная, иначе бойкая девица обогнула бы его дом за три версты.

#### 4

В пятилетнем возрасте Марфушу Шаньгину, единственную дочь одинокой вдовы из деревни Подволошной, украли цыгане. Подошли своим табором, остановились за околицей, вечером костры разложили; на следующий день цыганки по дворам шныряли, гадали бабам на картах, предсказывая будущее, цыганята хлеба выпрашивали и лихо плясали, вздымая голыми пятками деревенскую пыль. Надолго табор не задержался, рано утром, когда еще солнце не выкатилось, снялся тихонько, без шума и гама, и исчез, оставив после себя черные кострища, в которых догорали угли, помигивая слабыми огоньками.

Вдова, обнаружив, что дочка у нее пропала, всполошила в отчаянии всю деревню. Мужики, заседлав коней и прихватив ружья, кинулись в погоню. Кружили по ближним и дальним дорогам, даже на тракт выезжали, спрашивали у всех встречных и поперечных, но цыганского табора никто не видел, будто он из ниоткуда пришел и в никуда уехал.

Погоревала вдова, поплакала, а через год продала свою хилую избенку и отправилась в губернский город Ярск, объяснив соседям, что желает наладить новую жизнь, иначе горе в пустых стенах съест ее заживо. С тех пор ни разу в Подволошной не объявилась, никаких слухов о бедной вдове не доходило, и со временем стали о ней забывать; вспоминали иногда лишь о таборе, когда пугали озорных ребятишек: если слушаться не будешь – тебя цыгане украдут...

Но пришлось вспомнить – во всех подробностях. И давний вечер, когда за околицей загорелись цыганские костры, и как мужики следы табора искали, да не нашли, и вдову вспомнили, а главное – дочку ее, бесследно исчезнувшую. Да и как было не вспомнить, если Марфуша сама пришла в Подволошную. Срежь белого дня, ранним летом, появилась она перед своей родной избой, присела на бревнышко и запричитала – так складно, так горестно причитала, будто над покойником, что сбежавшиеся бабы, слушая ее, и свои платки намочили слезами. А когда проплакались, потянули наперебой Марфушу в гости, видели, что девчонка одета бедненько, обувки на ногах нет, а за плечами – лишь тощая котомка. Поили, кормили, спать укладывали, в баню водили и умилялись до сердечного всхлипа – очень уж девчонка, несмотря на малый возраст, было ей тогда лет тринадцать, всем поглянулась: и на лицо хорошенькая, и к старшим уважительная, и говорливая – голосок звенит, переливается, не хочешь, а заслушаешься.

А уж когда начинала Марфуша звонким своим голоском рассказывать, какие страхи пришлось испытать, пока она у цыган жила, в избе не повернуться было, иногда даже на крыльцо, в ограду, выходили, чтобы послушать. Ахали, охали, дивились обычаям веселого, но бездомного племени и жалели сиротку – сколько же ей, на столь коротеньком веку, пришлось несчастий принять!

Переходила Марфуша из избы в избу и все рассказывала, рассказывала, а через неделю засобиравлась в дорогу. Говорила, что идет она в губернский Ярск и непременно разыщет там свою маменьку, которая выплакала по ней последние слезы.

Провожали девчонку из деревни, как родную, натолкали полную котомку всякой снеди, на прощание бабы еще раз всплакнули и помахали платочками.

А спустя некоторое время те же самые бабы дружно всплеснули руками и начали ругать самих себя за то, что они полоротые дурочки. И как им было не ругаться, если во всех избах, где привечали разговорчивую Марфушу, стали обнаруживаться одна за другой пропажи: там кусок ситца из сундука исчез, здесь колечко потерялось, которое на божничке, за иконами, лежало, а в третьем случае и вовсе чудное дело приключилось – деньги, которые копили на покупку лошади и которые запрятаны были надежней надежного, в перину зашитые, испарились, как будто их и не было, а дырка в перине теми же белыми нитками зашита, только стежок разный, широкий, в спешке, видно, зашивала, торопилась. Но и это еще не все! У одной из девиц на выданье, которой на Покров собирались свадьбу играть, свадебное приданое пропало, вместе с фатой, хоть в обыденном сарафане под венец иди...

Вспотел Жигин, пока протокол писал, перечисляя все украденное и удивляясь ловкости и проворности девчонки. Это надо же обстрять дело таким манером, что комар носа не подточит, ведь ни одна из баб неладного не заподозрила, когда Марфушу слушала.

Службу свою Жигин тогда еще только начинал, навыков у него было мало, и воровку разыскать ему не удалось – как сквозь землю провалилась.

Это была его первая, пока заочная, встреча с Марфой Шаньгиной.

Но не последняя.

Прошло время и довелось лично познакомиться. На этот раз дело оказалось более серьезным: не кусок ситца из деревянного сундука пропал, а вся наличность, какую наторговал в своей лавке за целый месяц купец Мирошников. Лавку он держал в деревне Студеной, которая отстоит от Елбани на десять верст. Вот туда и примчался Жигин, получив извещение о краже. Мирошников от огорчения был пьян, лохматил растопыренной пятерней седые уже, но все еще густые волосы и вскрикивал время от времени, вскакивая с просторного деревянного кресла, украшенного витиеватой резьбой:

– Я же ангелом! Ангелом ее называл!

И шлепался, как кусок теста, обратно на твердое сиденье.

Но скоро Мирошников протрезвел, взял себя в руки и, выхлебывая один стакан чая за другим, принялся рассказывать, на удивление ясно и в подробностях.

Сидел он в тот злополучный день в лавке, потому как приказчик его захворал от простуды, кашлял и с постели не поднимался. Вот и пришлось хозяину самому заступать на его место. Народу в лавке никого не было, Мирошников скучал и позевывал, собираясь отправиться домой, чтобы пообедать. Но тут услышал диковинный голосок – до того жалобный и трогательный, до того звонкий, что не отозваться на него могло лишь каменное сердце. Мирошников выглянул из лавки и увидел на крыльце девчонку, одетую в худенькую, местами дырчатую одежку, и обутую в старенькие, молю почиканные валенки. А на дворе стоял уже ноябрь, и морозы давили неигрушечные. Девчонку пронизывало холодом, и руки ее в рваных вязаных рукавчиках вздрагивали. Держала она в руках железную кружку, на дне которой чуть слышно позвякивали несколько медяков. Яснее ясного – погорелка. Оставшись после пожара без крыши над головой, без scarба и без одежды, ходили такие несчастные по деревням и просили милостыню. Но чаще всего этим занимались бабы, а тут – девчонка молоденькая. Мирошников жалостливым не был и шуганул бы ее с крыльца в два счета, чтобы глаза не мозолила, но голосок звенящий не дал этого сделать. Уж так он звучал пронзительно, столько в нем отчаяния слышалось, что Мирошников, будто замороженный, не только не прогнал погорелку, но и в лавку завел, широко распахнув перед ней двери. Дозволил обогреться возле печки, еще не

остывшей, хлеба дал и старый, засохший пряник. Погорелка обогрелась, дрожь перестала, а когда хлебец с пряником съела и водичкой запила, вовсе повеселела. Глазки засверкали, а голосок зазвучал еще звонче. И голоском этим, отвечая на расспросы приютившего ее Мирошников, поведала она обычную историю, очень короткую: изба у них сгорела еще в конце лета, и пока тепло было, ходила она по деревням вместе с матерью и двумя младшими сестренками. А отца у них нет, помер он, еще давно, получив увечье в пьяной мужичьей драке. Ну, вот, ходили они вчетвером, просили милостыню, а как морозы стукнули, боязно стало маленьких сестренек в дальнюю дорогу брать без теплой одежды – померзнут намертво. Хорошо, что нашлись добрые люди, приютили на зиму, но кормить не пообещались, поэтому и пришлось старшей дочери отправляться в долгую и невеселую дорогу.

– Спаси Бог вас, дядичка, за доброту вашу, за хлеб, за приют, – кланялась погорелка, закончив свой печальный рассказ, – обогрелась, напилась, пойду дальше горе мыкать. Ой, в углу-то у вас, глядите, грязно!

Мирошников скосил глаз. Верно говорит: лентяй приказчик даже веником не взмахнул в последние дни, грязищу развел, как в свином загоне. Вот прокашляется, надо будет ему хорошую выволочку устроить... Но не успел Мирошников придумать, как он приказчика своего накажет, а погорелка уже кацавейку скинула, веник нашла, ведро с тряпкой и принялась наводить чистоту в лавке, как добрая хозяйка в своей горнице наводит перед Пасхой. Еще и звенеть успевала:

– Я вам, дядичка, за доброту за вашу отслужу, с полным удовольствием отслужу, мне в радость хорошего человека благодарить...

Не прошло и часа, а лавка сияла и поблескивала вымытыми полами, как покрашенное яичко.

Крякнул Мирошников, поглядел еще раз на погорелку и сказал, как о деле решенном:

– Оставайся, девка. В лавке будешь убираться и по дому, я плату положу. Медными копейками, какие соберешь, ты своих не прокормишь. Ступай за мной, жене тебя покажу. Как зовут-то?

– Анастасией меня зовут, Настей.

– Ну, пошли, Настя.

Уже через неделю Мирошников и супруга его души не чаяли в новой работнице. В доме и в лавке светила, как солнышко, и звенела, не умолкая, будто колокольчик под дугой. Всякая работа в руках у нее огнем горела, а шагом никогда не ходила – летала, казалось, что ни земли, ни полов не касалась легкими ногами.

А через несколько месяцев исчезла. Когда, куда – никто не видел и не слышал. И ладно бы – исчезла, она и выручку прихватила, всю до копеечки. Деньги лежали в доме, в железном ящике, а ключ от этого ящика Мирошников хранил в особом месте, в нижнем ящике стола, где выбрана была стамеской специальная выемка, сверху закрытая дощечкой, как пенал. Там ключ и лежал, на прежнем месте, железный ящик был закрыт, да только денег в нем, когда Мирошников сунулся, не оказалось. Плакали денежки...

Больше Мирошников ничего добавить не мог, рассказывая Жигину о краже, и только продолжал удивляться, правда, уже не вскрикивая, а тихо вздыхая:

– Я же ангелом! Ангелом ее называл!

Но Жигин его вздохи уже не слушал, его теперь другое заботило – куда этот ангел улетел? Память у него была отменная, и он сразу вспомнил давний случай в Подволошной, там, как рассказывали бабы, девчонка тоже звонким голосом отличалась. А что имена у них разные, тут удивляться нечему, как захотела, так и назвалась. Когда пожелала, тогда и убежала.

Вот и получалось – ищи иголку в стоге сена, может, и подвернется случайно под руку. Жигин, не сильно надеясь на удачу, задерживаться в Студеной не стал, а махнул сразу на тракт, на дальний постоялый двор, посчитав, что воровка, даже если на подводу к кому-нибудь напро-

силась, погреться обязательно остановится – морозы в те дни стояли крепкие. Едва коня не загнал, одолевая путь до постоянного двора, но старался не зря – успел, прямо из саней вынул Марфушу, которая уже собиралась уезжать на попутной подводе.

Тогда он ее в первый раз и разглядел. Была она, как в присказке, круглолица, белолица, в больших глазах стояли слезы, и голосок звенел – воистину! – ангельский:

– Дядичка, миленький, ни в чем я не виноватая! Никаких денег не видела, и руки бы у меня отсохли, если бы до чужого добра дотронулась! А убежала я, чтобы хозяйка не отравила, она меня к хозяину ревновать стала и пообещала битым стеклом накормить или отравой отравить! Вот я и побежала. Даже заработанное просить не стала, только бы ноги унести! Поверь мне, дядичка, отпусти меня!

Жигин, конечно, не поверил и не отпустил. Доставил ее в Елбань и запер в арестантскую. Время уже было позднее, ночь на дворе, затевать допрос и писать бумаги не хотелось, да и в сон крепко клонило после скачек на морозе. Решил Жигин разбирательство оставить до утра.

Но утром, придя на службу, удивился до невозможности: первым, кого увидел, оказался Мирошников. А когда тот заговорил, у Жигина и вовсе глаза на лоб полезли. Говорил купец торопливо, сбивчиво, путался, будто в сеть попал, хотя и был трезвым в отличие от вчерашнего. Говорил и оглядывался, словно хотел проверить – есть кто за спиной или нет? За спиной никого не было, но Мирошников все равно оглядывался и бормотал:

– Извиняй, Илья Григорьевич, бес попутал... Нагородил вчера... Девчонка не виновата, баба моя с ума сошла... Деньги взяла и спрятала, чтобы, значит, напраслину возвести на Настю... Придумала, дура набитая, что шуры-муры у нас... Ты уж дела не поднимай... До копейки все целое... Грех на душу брать не хочется...

Слушал Жигин это бормотание и нутром чуял неладное. Он к тому времени уже стреляный воробей был, и на мякине его обмануть мало кому удавалось. Помнил, что еще вчера супруга Мирошникова, рассказывая про Настю, искренне горевала, что они такую старательную работницу потеряли. И сам Мирошников, похоже, честно вчера рассказывал, а вот почему сегодня пошел на попятную? Что могло за ночь случиться?

Но докопаться до истины Жигину не дал становой пристав Вигилянский – будто взмахнул топором и отсек все ненужное:

– Деньги целые? Целые. Кражи нет? Нет. Бумаги судебному следователю не отправляли? Не отправляли. Вот и гони их обоих к чертовой бабушке! Лишняя канитель нам не нужна!

Приказ начальника Жигин выполнил, Настю-Марфушу отпустил, и та, низко кланяясь, долго благодарила:

– Спаси Христос тебя, дядичка, что бедную погорелку не обидел, я за тебя молиться стану...

– Не надо за меня молиться! – сурово оборвал Жигин. – Ты лучше так сделай, чтобы я тебя больше в глаза не видел! Еще раз попадешься – в затылке чесать замучишься!

– Чесать-то, дядичка, всегда приходится. Если голова да волосья имеются, вши обязательно заведутся! – И сказав это, с улыбочкой, так глянула на него круглыми, искрящимися глазами, что Жигин окончательно уверился: сперла она деньги у Мирошникова! А теперь, выкрутившись, еще и усмехается.

Больше ему с Марфой встречаться не доводилось, но слышать про нее – слышал. Да и как могло быть иначе, если о ней даже в газете, в «Губернских ведомостях», писали – «Кухарка-наследница». Писали, что в губернском городе Ярске владелец трех приисков Лаврентий Зотович Парфенов, старик уже и вдовец, нанял себе кухарку, девушку Марфу Шаньгину. Не прошло и полгода, как Парфенов сошел с ума и попал в скорбный дом, но до этого, находясь еще в здравой и твердой памяти, написал завещание, согласно которому Марфе Шаньгиной достались большие деньги. Единственный сын и наследник Парфенова, Павел Лаврентьевич, направился в суд – быть такого не может! Но в суде ему дали от ворот поворот – завещание нотари-

усом честь по чести оформлено, все подписи подлинны, и, соответственно, воля завещателя должна быть исполнена.

Жигин эту газету долго хранил, удивляясь ловкости совсем еще молодой девицы.

И вот она сидела теперь перед ним, ставшая совершенной красавицей, прихлебывала чай из чашки, оттопырив нежный мизинчик, поблескивала глазами, и звенел ее голос, по-прежнему завораживающий и ни капли не потускневший:

– Я помочь желаю, Илья Григорьевич, знаю, как жену вашу разыскать, да только и вы мне помогите...

Он вскочил из-за стола и замер...

## 5

После рождественских праздников в гостинице «Эрмитаж», в городе Ярске, поселились два молодых господина, которые представились агентами Московского страхового общества «Якорь» – Леонидом Столбовым и Аполлоном Губатовым. Приехали они налегке, с двумя саквояжами, и сняли просторный номер, один на двоих, с окнами, выходившими на главную городскую улицу – Почтамтскую. Целую неделю разъезжали по городу, по своим делам, в гостиницу возвращались поздно, а в понедельник никуда не поехали, потребовали завтрак в номер и все газеты, какие только можно купить.

– Что, господин Губатов, не можете изменить своей привычке и будете предаваться чтению?

– Привычка, будет вам известно, господин Столбов, является второй натурой. А натуру изменить мало кому удастся. По крайней мере, я не из числа тех, кто сей подвиг смог совершить. Вам что, не нравится?

– Боже упаси! Занимайтесь чем угодно, хоть молебен устраивайте, мне абсолютно все равно.

– Молебен я бы устроил, но боюсь, что запах ладана заставит вас выброситься из окна – вспомните все свои грехи и устыдитесь.

– Вспомнить, может, и вспомню, а вот устыдиться... Одолевают меня смутные сомнения...

Разговаривали они между собой странно – будто бы играли, как в любительском спектакле. Правда, не очень впечатляюще, но старались.

Коридорный доставил завтрак и газеты. Столбов с аппетитом принялся за еду, а Губатов лег на диван и принялся читать. Громко шуршал, разворачивая страницы, просмотрев, бросал газеты на пол – и вдруг оживился, даже ногой дернул, заговорил:

– Вы знаете, господин Столбов, нигде нельзя обнаружить столь много человеческой глупости, как в брачных объявлениях. Эта глупость так и лезет из каждой буквы! Всякий раз, когда их читаю, прихожу в совершенный восторг. Будь моя воля, поставил бы огромный памятник и назвал бы его коротко и емко – дурь! Вы только послушайте, это надо на мраморе золотыми буквами выбивать! «Желаю жениться на барышне, на вдове, на молодой или старой девице или даме. Сословие безразлично, но капитал обязателен. Я желаю войти к ней в дом и жить в ее доме. Я думаю, мной будет довольна и счастлива та, которая избавит меня из этого грязного мира, той отдам руку и сердце до конца жизни, буду предан до последней капли крови. Занимаюсь скобяной торговлей, желательна фотографическая карточка». А самое смешное в том, что и карточку пришлют, и в дом пустят! Ну, а это просто перл! «Молоденькая, красивенькая, но глупенькая барышня ждет того, кто научит ее уму-разуму». Прелесть! А вот еще. «Граф тридцати трех лет желает посредством брака сделать богатую невесту графиней и заодно покрыть ее прошлые грешки. Затем согласен дать свободный вид на жительство». О! Здесь прямо-таки гусарский клич. «А ну-ка, барышни! Не ленитесь и напишите поскорее, если желаете выйти

замуж за молодого офицера с хорошим и веселым характером. Лично для себя средств не ищу, но они необходимы для вашего собственного обеспечения». Вот еще, послушайте, какой изящный слог! «Бледная тень одинокого духа бродит вокруг, скорбно звучат унылые струны печали, как змея, извиваясь, давит душу тоска, всюду ишу “ее”, но где же она? Цель – брак».

Столбов спокойно заканчивал завтракать, уже допивал кофе, а Губатов все продолжал читать, теперь, правда, уже не брачные объявления:

– Французский доктор Ферра уведомляет, что женщины обязаны своей красотой тому обстоятельству, что им не приходится утруждать свой ум, как мужчинам. Серьезные науки и умственная работа, по наблюдению Ферра, имеют вредное влияние на красоту. В доказательство Ферра приводит следующий пример: в Индии находится племя, в коем все правление и тяжелые работы лежат на обязанности женщин, между тем как мужчины бездействуют. И в этом племени все мужчины – красавцы, а женщины – уроды.

Столбов, допив кофе, закурил и неожиданно расхохотался:

– Зато у всех глупых есть одно неоспоримое преимущество – они никогда не сойдут с ума, которого у них нет.

– Очень верное замечание!

– Все, Губатов, хватит! Сколько времени?

– Четверть десятого.

– Шутки закончились. Собираемся. Заступай, я оденусь и сменю.

Губатов встал у окна, приоткрыл штору и принялся осматривать улицу с высоты второго этажа. Столбов в это время тщательно и неторопливо одевался; когда оделся, сменил Губатова, тот тоже оделся, и вскоре они уже вдвоем стояли у окна, с разных сторон, и оба отошли от него, увидев одновременно, что напротив «Эрмитажа», на другой стороне улицы, возле колбасной лавки, остановились легкие санки, в которые запряжен был молодой жеребец карей масти. Извозчик снял шапку, помял ее в руках и снова натянул на голову.

– Пошли, – скомандовал Столбов.

Они вышли из «Эрмитажа» один за другим – вальяжные, щеголеватые, оба в длинных пальто с бобровыми воротниками, оба несли в руках саквояжи из черной кожи с блестящими медными застежками. Пересекли улицу, уселись в санки, и Столбов негромко сказал извозчику:

– В Сибирский, братец.

Извозчик кивнул, разобрал вожжи, и санки, быстро набирая ход, весело полетели вперед.

## 6

Сибирский торговый банк в Ярске располагался на Никольской площади, недалеко от кафедрального собора. Будто каменный корабль, вставший на якорь в устье главной городской улицы – Почтамтской. Красный кирпич, причудливый рисунок искусно выложенных карнизов, островерхие башенки по углам, высокие окна, просторное, каменное крыльцо с широкими ступенями – все имело вид основательный, внушительный и с претензией на изящность. Над входом – длинная, зеленого цвета, железная вывеска, яркая, как первая трава.

Под вывеской стоял городской – высокий, толстый, с усами; строгим оком наблюдал за всем, что происходило на площади. Легкие санки остановились почти рядом с ним, Столбов и Губатов неторопливо, с достоинством, вышагнули из них и направились, даже не взглянув на городского, к высоким дверям, неспешно поднимаясь по ступеням каменного крыльца. Извозчик дернул вожжи, санки отъехали и встали за углом здания, где была срублена из толстых, гладко обструганных бревен длинная коновязь. Городовой проводил мимолетным взглядом молодых людей и снова стал наблюдать за площадью, на которой все происходило тихо и мирно, как и положено быть в будний, ничем не примечательный день.



Молодые люди миновали высокие входные двери и оказались в просторном вестибюле; не останавливаясь, уверенно направились к гардеробу, где сдали свои шубы и получили номерки. Саквояжей при них не было. Весело переговариваясь между собой, посмеиваясь, они остановились возле огромного фикуса в кадке, но остановились таким образом, что их было почти не видно за широкими листьями.

В это время по лестнице, вниз, в вестибюль, стали спускаться два человека, которые тащили, перекинув через плечи, большие мешки из верблюжьей шерсти, которые обычно называли баулами. Мешки-баулы были прошиты поверху крепкими веревками, на веревках болтались круглые сургучные пломбы. Следом за носильщиками шли еще два человека, видимо, охранники – у каждого из них на поясе висело по кобуре.

И никто из людей, находившихся в вестибюле, даже внимания не обратил на эту процессию, потому что она была обычной для банка. Получили люди большие деньги, наняли охрану, чтобы душа была спокойной, теперь вынесут эти мешки-баулы и доставят их по нужному адресу. Вот уже и последние ступеньки лестницы миновали, двинулись по вестибюлю, направляясь к выходу...

Гулко, сдвоенно, ударили из-за фикуса первые выстрелы. И еще, еще лаяли револьверы, а просторные, высокие своды вестибюля гудели от выстрелов долгим глухим эхом. Кто-то громко, испуганно ахнул, тонкий женский голос сорвался на пронзительный визг, а револьверы продолжали грохотать почти без перерыва. Носильщики, бросив мешки, уползли на четвереньках под лестницу. Один из охранников, нелепо раскинув руки, лежал возле брошенного мешка, а второй, отпрыгнув за колонну и присев на корточки, никак не мог выдернуть оружие из кобуры.

Столбов и Губатов выскочили из-за фикуса, будто их выкинули из катапульты. Схватили мешки, потащили волоком, лицами оставаясь к вестибюлю и не опуская револьверов, готовые выстрелить в любой момент. Достигли входных дверей. Столбов толкнулся в них спиной, продернул мешок через низкий порог, Губатов чуть замешкался и эта коротенькая, может быть, на половину секунды, задержка стоила ему жизни. Второй охранник наконец-то расстегнул кобуру, выдернул свой револьвер, и первая же пуля вошла Губатову точно в грудь. Он даже не дернулся, лег послушно и прислонился щекой к холодному полу, будто решил что-то услышать. Но услышать он ничего не мог, потому что умер мгновенно.

А вот Столбов слышал, как снаружи, на крыльце, грохнул взрыв и звонко посыпались стекла. Под этот звон выскочил назад, в вестибюль, схватил мешок, оставленный Губатовым, также продернул его через порог и на крыльцо вытащил уже оба мешка.

У крыльца, циркулем разведя ноги, лежал на спине городской, шинель на животе была у него разорвана и быстро становилась бурой от крови. Далеко отброшенная, с оборванной портупеей, валялась шашка, наполовину выскочившая из ножен.

Извозчик, доставивший молодых людей к банку, сидел на санках, которые подогнал к самой нижней ступеньке, держал в одной руке вожжи, а в другой – раскрытый кожаный саквояж. Тревожно смотрел на Столбова, тащившего мешки, но помочь не пытался, даже не шевелился, видимо, боялся покидать свое место, которое ему было определено в этом дерзком грабеже.

Задышавшись, почти без сил, Столбов запихнул в санки мешки, рухнул на них животом, с хрипом выдохнул:

– Гони!

Черный кожаный саквояж, описывая крутую дугу, полетел на крыльцо, вожжи ударили по крутым конским бокам, санки сорвались с места, а вдогонку им оглушительно грохнул новый взрыв, вышибая с пронзительным звоном уцелевшие стекла.

Опытной рукой извозчик направлял коня, пластавшегося в намете: срезал полукруг площади, дальше – в улицу, проскочил по ней несколько кварталов, свернул в кривой переулок,

миновал его, вылетел на лед речки Бушуйки, пересек ее – и санки будто растаяли среди низких серых домишек городской окраины.

## 7

«Молодой человек 22–25 лет, хорошо сложенный, роста выше среднего, рыжеватый блондин с небольшими усами, на голове рыжеватые выющиеся волосы. Одет прилично, в хороший фракный костюм, белье тонкое, новое, но без меток, лицо интеллигентное. В карманах фрака найдены: бумажная купюра достоинством в двадцать пять рублей, и номерок от вешалки. Никаких документов не обнаружено. Оружием, из которого производилась стрельба, является револьвер системы Браунинга, с которого сняты деревянные части ручки, так называемые “щеки”. Благодаря этому револьвер получил совершенно плоский вид и даже в карман фрака укладывается совершенно незаметным образом. В револьвере осталась одна пуля, был ли их полный комплект – не установлено...»

Генерал-губернатор Ярославской губернии Александр Николаевич Делинов слыл человеком резким и вспыльчивым. Сказывалась, видимо, военная косточка и долгая воинская служба, на которой он дослужился до генерала от инфантерии<sup>4</sup>. Терпеть не мог длинных докладов и обильной писанины. Резким движением отодвинул на край стола бумажные листы, раздраженно выговорил:

– Не установлено, не обнаружено, неизвестно! Зачем тогда принесли мне? Что, я обязательно должен знать – были постираны подштанники у этого грабителя или не были постираны?

Полицмейстер Ярска, Константин Владимирович Полозов, стоял навтыжку перед первым лицом губернии и пытался вежливо оправдаться:

– Ваш секретарь мне сообщил, чтобы я доставил все сведения по данному делу...

– Сведения! А не описание подштанников! Ладно, доложите, по возможности коротко, что удалось узнать на данный момент?

– На данный момент установлено следующее: грабители, Аполлон Губатов и Леонид Столбов, остановились в «Эрмитаже», представившись агентами Московского страхового общества «Якорь». Действительно ли они являются таковыми, мы сейчас выясняем – запрос уже послан. Предполагаю, что имена и фамилии вымышленные, а паспорта фальшивые. Также предполагаю, что в банке кто-то содействовал грабителям, сообщив точное время, когда будут получены деньги, которые предназначались для Парфеновских приисков. Приметы грабителя, оставшегося в живых, нам известны, на железнодорожной станции и в иных местах установлено наблюдение. На всех дорогах, ведущих из города, дежурят караулы. Надеюсь, что в ближайшее время смогу вам доложить о первых положительных результатах.

Полицмейстер был еще довольно молод, красив, как жених перед венчанием, и стоячий крахмальный воротничок, ослепительно белый, казался цветком, приколотым к темно-зеленому мундиру, который как нельзя лучше подчеркивал стройную, высокую фигуру и погвардейски развернутые плечи, а тоненькая щеточка тщательно подбритых усов, идеальная строчка пробора среди густых каштановых волос придавали ему особый шик – он казался ярким, без малейшего изъяна, будто нарисованный на парадной картине; и эта парадность очень раздражала генерал-губернатора, может быть, потому, что сам Александр Николаевич давно уже позабыл о воинской выправке, огрузнел телом, и всего лишь месяц назад ему пришлось, второй раз за год, заказывать новый мундир, потому что старый упрямо не желал застегиваться на животе. Он огладил пухлой ладонью большую, окладистую бороду, под которой

---

<sup>4</sup> Инфантерия – пехота.

скрывал обвислый двойной подбородок, недовольно прищурился, оглядывая полицмейстера, и насмешливо-просительным голосом произнес:

– Уж будьте настолько любезны, Константин Владимирович, снизойдите до моей скромной персоны, доложите мне о толковых результатах. А еще осмелюсь вас попросить – найдите грабителей и деньги. Я вам очень, очень буду признателен...

Полицмейстер почтительно стоял перед ним, не шелохнувшись, и молчал – он уже давно усвоил, что в такие моменты лучше всего молчать, а рот открывать лишь в том случае, когда задан вопрос и на него необходимо ответить.

Александр Николаевич перевел взгляд на бумаги, отодвинутые на край стола, сморщился и махнул рукой:

– Не смею вас больше задерживать, Константин Владимирович. Не позабудьте о моей просьбе...

Когда за полицмейстером закрылась дверь, губернатор протянул руку к маленькому колокольчику, и нежный звон огласил просторный кабинет. На пороге неслышно появился секретарь.

– Кто там еще? Приглашай!

И потянулись, соблюдая строгую очередность, просители, которым улыбнулась удача – попасть на прием к самому генерал-губернатору. Александр Николаевич вникал в просьбы и жалобы, давал поручения секретарю, а в иных случаях вершил суд и расправу, не откладывая в долгий ящик и даже не поднимаясь с кресла. В такие часы он был сосредоточен, деловит, строг, официален и любил, чтобы его решения исполнялись быстро и четко – будто командовал на плацу разводом полка, когда все, от рядовых до офицеров, послушные ему, шагают в ногу.

– Ваше высокопревосходительство, простите меня великодушно, я очень волнуюсь, я в первый раз у столь высокого лица на приеме оказалась, – звенящий, напевный голос зазвучал в просторном губернаторском кабинете громче и мелодичней, чем медный колокольчик, звуком которого вызывался секретарь; Александр Николаевич поднял голову; голос продолжал звенеть: – Я пришла просить вашего покровительства...

Стояла перед генерал-губернатором ослепительно красивая женщина, вся – красивая: от милых кудряшек до маленьких остроносых туфелек, которые выглядывали из-под подола длинного и нарядного платья голубого цвета. Глаза светились, и столько в них было искренней надежды, что Александр Николаевич, будто проснувшись, смотрел на нее, слушал, и ему хотелось, чтобы это продолжалось как можно дольше. Он широким жестом показал просительнице на кресло возле своего стола, приглашая сесть, и она несмело, робко присела на самый краешек, сложила на коленях маленькие нежные ручки. И говорила дальше, глядя на свои руки, будто не смея поднять взгляд на губернатора:

– Я, ваше высокопревосходительство, желала бы открыть бесплатную школу для бедных детей, средства у меня имеются, и домик подходящий уже приглядела, но никак не могу оформить надлежащие бумаги, господин полицмейстер не подписывает, а городская управа без его ведома прошение мое не рассматривает. Я бы не осмелилась вас тревожить, но обстоятельства меня подтолкнули. Владельцы домика ждать не желают, им средства срочно нужны, согласились еще две недели подождать, но не больше...

– А по какой причине полицмейстер бумаги не подписывает?

– Простите, но я этого не знаю, причины мне не называют.

– И сколько вы намереваетесь деток учить?

– Я все рассчитала, – заторопилась просительница и ручки вскинула, прижав к груди, – по средствам рассчитала и по домику – тридцать человек, чтобы не тесно было, чтобы просторно...

– Как вас зовут?

– Марфа Ивановна, мещанка Шаньгина. Правда, в мещанство я недавно записалась, может быть, из-за этого задержка...

– Обещаю, что во всем разберусь лично, ответ получите в ближайшие дни, и надеюсь, что он будет положительным. Более того, после положительного ответа я вам помощницу представлю, свою супругу, она у меня любит благотворительными делами заниматься.

Мещанка Марфа Ивановна Шаньгина радостно вздохнула, поднялась с кресла и молча поклонилась, и так гибко, грациозно это проделала, что Александр Николаевич, сам того не заметив, улыбнулся в пышные усы и, провожая взглядом просительницу, подумал: «Хороша, ой, хороша...»

Он еще нестарым мужчиной был, генерал-губернатор Ярославской губернии.

## 8

Тракт, минуя Елбань, уходил чуть в сторону, придерживаясь ровной местности, и только верст через сорок круто поворачивал на восток, втягиваясь под кроны глухой черневой тайги, где спокойная езда превращалась в сплошное мучение: один перевал следовал за другим, и надо было сначала затащиться по длинному подъему, а после спуститься по коварному спуску. Если зазеваешься на этом спуске, либо конь ногу сломит, либо сани вместе с грузом перевернутся.

Тяжело приходилось здесь ямщикам и всякому проезжающему. Но мало того, что езда получалась через пень в колоду, надо было на этом отрезке тракта еще и лихих людей побаиваться. Нередко бывало, что выскакивали из-под придорожных елей страшные варнаки<sup>5</sup> с черными тряпками на лицах, повисали на оглоблях, останавливая коней, и начинался грабеж. Распотрошат запоздалый обоз или одинокую подводку, свистнут, гикнут и растворятся среди угрюмых елей, как утренний туман. Попробуй, найди их посреди необъятной тайги, где ни дорог нет, ни деревень, одни лишь волчьи да варначьи тропы виляют.

Правда, одна дорога была. Летом – с рытвинами, ухабами, с пылью, которая едва ли не на версту вверх поднималась; зимой – с переметами и высоченными сугробами по обочинам, когда двое саней разъехаться не могут. Вела эта дорога на Парфеновские прииски, которые находились в самой таежной глуши, на речке Черной. Приисков было три, и поэтому именовали их, особо не мудрствуя, Первый Парфеновский, Второй Парфеновский и, соответственно, Третий, тоже Парфеновский. Названия свои прииски получили от хозяина, богатого ярского купца Парфенова, который лет пятнадцать назад собрал знающих людей, снарядил их, и они отправились в тайгу, где провели целое лето. Поздней осенью, с первым снегом, вернулись в Ярк и принесли купцу большой кукиш – все труды оказались напрасными. Купец крякнул, изругался похабным словом, но больше чувствам своим воли не дал: в конце зимы велел, чтобы знающие люди снова к нему явились. Они пришли, он во второй раз снарядил их на поиски – упорный был характер у купца. И еще одно лето ахнулось, как в прорву – впустую. Парфенов, словно норовистый жеребец, закусил удила: в третье лето нанятые им люди снова отправились в тайгу. И в этот раз на речке Черной нашли, раскопали все-таки золотоносную жилу, да такую богатую, что через два года там уже три прииска гудели в полную силу. А после и прибыль поперла – на радость хозяину. Поднялся на золоте купец Парфенов, как квашня на опаре. Забогатель безмерно, чудить начал: визитки себе изготовил из чистого золота, на которых красивыми прописными буквами гравировалось: «Купец первой гильдии, промышленник Лаврентий Зотович Парфенов». Дальше – больше. Заказал в далекой Германии преогромное зеркало: в высоту две сажени<sup>6</sup>, а в ширину – одна с половиной. И везли это зеркало с вели-

---

<sup>5</sup> Варнаки (сиб.) – разбойники.

<sup>6</sup> Сажень – 2,16 м.

кими предосторожностями, чтобы не треснуло, из далекой немецкой земли; в Ярск, на последнем этапе, доставили по речке Бушуйке в целости и сохранности. Вот уж развлечение было всем, кто пришел на пристань. Двенадцать человек несли цельное зеркало, придерживая его за края, несли, стараясь шагать единым, ровным шагом и боясь больше всего оступиться или запнуться. Донесли. И красовалось оно во всю стену огромного парфеновского дома до тех пор, пока хозяин не расстрелял его из собственного ружья. Вскоре после столь печального случая Лаврентия Зотовича отправили в скорбный дом, где он и преставился, дело перешло в руки единственного сына и наследника – Павла Лаврентьевича, и тот отцовское наследство не только не уронил, но и приумножил. Прииски разрастались, золота с каждым годом добывали все больше, только вот дорога оставалась прежней – ни пройти ни проехать.

Но Илье Григорьевичу Жигину деваться было некуда, и он, сидя в новой кошевке и понужая нового коня, тащился по этой дороге; незлобиво, но вслух ругался, прекрасно понимая, что ничего ровным счетом от его ругани не изменится, а дорога как была в нырках и ухабах, таковой и останется.

Ранний зимний вечер застал его в пути. Из тайги, от крайних елей, потянулись длинные темно-синие тени, быстро стало смеркаться, и Жигин остановил коня. Выбрался из кошевки, огляделся и понял, что пора устраиваться на ночлег. Протоптал тропинку до ближней поляны, провел туда лошадь с кошевкой, разжег костер и принялся рубить еловый лапник, чтобы сложить из него походную постель.

Наскоро перекусил подмерзлым хлебом, даже чай кипятить не стал, лег на лапник, и в глаза ему опрокинулось звездное небо. Он смотрел на него, живое, движущееся, мигающее, и никак не мог избавиться от странного чувства: все ему казалось, что это не он, урядник 1-го стана Ильи Григорьевич Жигин, а совсем иной человек ехал сегодня по пустынной дороге в сторону Парфеновских приисков, а сейчас собирается ночевать на еловом лапнике возле костра. И хотя приходилось ему и раньше ездить в глухие углы, лежать у костров, бывало, и в лютые морозы, на этот раз все было необычным, не испытанным еще ни разу за долгую службу и поэтому тревожным, ведь ехал он и собирался ночевать на этой поляне без ведома начальника, без приказа, более того, если разобраться, ехал обманом и по собственной воле.

А отважился на столь смелый поступок Ильи Григорьевич после того, как появилась в его доме Марфа Шаньгина. Выслушал он ее в недавний памятный вечер, подумал недолго и молча кивнул – согласен. Отпихнул обычную свою осторожность, будто надоедливую кошку, которая под ногами путается, и проводил Марфу до ворот, посмотрел, как унесла ее богатая тройка с кучером, подивился изменчивости людской судьбы и подумал, словно молитву прочитал: «Пусть хоть жизни лишусь, а свое добуду. Не для того я дом и семью строил, чтобы их в одночасье по ветру пустили. Не бывать этому!»

Решив так и за долгую ночь только укрепившись в своем решении, утром он предстал перед приставом Вигилянским и бодро доложил:

– Спасибо за отпуск, господин пристав! Готов продолжать службу и жду указаний!

Вигилянский, довольный, скупой улыбнулся, поднялся из-за стола, руку пожал и даже пригласил чаю попить, приговаривая:

– Конь под нами, а Бог над нами. Никуда не денешься, приходится терпеть. Кстати, про коня... Я тут кое-чего придумал, чтобы в разор тебя не вводить, одним словом, конь и кошевка возле арестантской стоят – бери и владей.

– Так деньги же... – не понял Жигин.

– Сказано тебе – бери и владей. Про деньги забудь, а спрашивать будешь, где взял, я тебя накажу, – говорил Вигилянский строгим голосом, а сам продолжал улыбаться, что случалось с ним крайне редко.

Сели пить чай.

И за чаем Жигин доложил своему начальнику, что принесли ему надежные люди весточку про сбежавшего Комлева: собирался каторжник отсидеться до тепла на Парфеновских приисках, затеряться там под чужим именем. Сам Жигин на приисках давно не бывал, и неплохо было бы туда наведаться. Как на его задумку господин пристав посмотрит?

– Не смотреть, Илья Григорьевич, а ехать надо! – воскликнул Вигилианский, – Комлев этот отсидится зимой, откормится к весне и чего еще натворит – неизвестно. Не откладывая, надо его к ногтю прижать!

Даже в мыслях, наверное, у пристава не было подозрения, что урядник его обманул. Не получал Жигин весточки от верных людей про Комлева, ни сном ни духом не ведал, где может скрываться беглый каторжный, и лишь единственное было правдой – требовалось ему срочно попасть на Первый Парфеновский прииск. Именно туда направила его Марфа Шаньгина, рассказав такое, что и в дурном сне редко может привидеться. Но Жигин ей поверил – сразу и безоговорочно. Будто кто невидимый нашептал: не тот случай, когда нужно сомневаться.

Вот и решился он обмануть пристава, отправился на прииск, огорчаясь лишь двумя обстоятельствами – дальней дорогой и очень уж медленной ездой. Но по сугробам вскачь не полетишь. Приходилось терпеть и умирять свое торопливое желание поскорее оказаться на месте.

Думая об этом, вспоминая, Жигин продолжал глядеть в звездное небо и оно, бескрайнее и бездонное, притягивало к себе, словно отрывало от грешной земли и уносило в неведомые дали и выси, и даже в иное время, в котором царствовал спелый август...

## 9

Да, стоял в тот год тихий, сухой август. С блескучим, но уже слабо греющим солнцем; оно закатывалось, оставляя после себя блеклую зарю, не успевая нагревать землю, и ночи наступали прохладные, густо-темные, одни лишь звезды светились ярко и казались от этой яркости особенно крупными, словно вызрели к концу лета, как ягоды.

В одну из таких ночей Илья Жигин, тогда еще молодой и холостой, бился на кулаках смертным боем с грозным противником и всхлупывал разбитым носом, из которого щедро катилась теплая кровь. За околицей, при свете костра, сошлись два парня, один на один, зная прекрасно, что не будет им примирения и не остановятся они до тех пор, пока кто-то не упадет на землю и не хватит у него силы, чтобы подняться.

Лучший кулачный боец всей округи, Семен Холодов, молотил без жалости Илью Жигина, и тот, обороняясь, боялся лишь одного – упасть. Знал, что если упадет – на ноги ему не встать. Сильнее, опытней был в драке Семен и бил расчетливо, целясь попасть под вздох или в лицо, редко промахивался, и голова у Ильи уже гудела, левый глаз заплывал и различал лишь шаткое костровое пламя. Но он продолжал отмахиваться, бил, уже не глядя, и вдруг с пугающей ясностью понял – недолго продержится, добьет его Семен. От безнадежности и отчаяния неистово закричал, оглушая самого себя, закричал, будто перед смертью, и успел в короткое мгновение заметить, что Семен от этого крика сделал шаг назад и, заметив, рванулся вперед, выкинув руки. Успел и дотянулся до потного горла. Сомкнул пальцы, срывая ногтями кожу, и уже не чуял ударов по голове, давил и давил, осязая всем нутром, как костенеющие пальцы все глубже уходят в чужую плоть. Семен захрипел, качнулся и повалился на спину. Илья, не размыкая пальцев, упал вместе с ним, и на короткое время его вышибло из сознания. Очнулся от тяжелого и надсадного хрипа – это Семен дергался и хрипел, пытаясь вдохнуть на полную грудь. Илья, преодолевая гул в голове, кое-как поднялся, отшагнул к костру и сел на землю, потому что ноги не держали, вздрагивали и подсекались в коленях.

Сидел, смотрел на поверженного противника одним глазом, потому что другой ничего не видел, и ждал терпеливо, когда тот придет в себя. Не скоро оклемался Семен, прохрипелся, прокашлялся, перевернулся набок, но подниматься не стал, продолжая лежать на земле.

– Все по-честному, по уговору, – сказал Илья и не узнал своего голоса – тонкий, дрожащий, как у маленького ребенка; тогда он помолчал, передохнул и твердо закончил: – Моя взяла. Слышишь?

Семен не отозвался, и неясным было – слышит он или нет. Но Илье и не нужен был его отзыв, который не имел теперь никакого значения. Он встал на ноги и пошел, шарахаясь из стороны в сторону и растопыривая руки, словно возвращался, крепко захмелев, с поздней гулянки.

Развязался узелок, туго затянувшийся еще ранней весной, когда на этом же месте, за околицей, сцепились на вечерке, как два молодых и задорных петуха, Илья Жигин и Семен Холодов. Сцепились, понятное дело, из-за девичьей симпатии. Плясала эта симпатия, Василиса Лебедева, под балалайку и частушки пела, будто дразнила парней:

Выйду на гору крутую,  
Буду с лесом говорить:  
Ты скажи, зелена елочка –

Кого мне полюбить?

И знала ведь первая на деревне певунья и плясунья, что на грех парней толкает, сшибая их лбами, раззадоривает в ненависти друг к другу, но остановиться не могла, несло ее, как норовистую телушку по весне: выскочила после долгой зимы из загона, вздернула хвост и летит, дороги не разбирая, только ветер в ушах посвистывает – ничего не надо, кроме бесшабашной воли да бодрящего воздуха, пахнущего талым снегом.

Летела.

И озорные частушки от зубов отскакивали:

Я люблю, когда пылает,  
Я люблю, когда горит,  
Я люблю, когда миленок  
Про любовь мне говорит!

На той вечерке дело до драки не дошло – погрозились словами, походили кругами и отступились. И на следующих вечерках, хотя и хорохорились, все-таки через межу не переступали. А Василиса смеялась, плясала, звенела частушками и продолжала дразнить: то одного пальчиком поманит, то другого и никому обещаний не дает, выскальзывает прямо из рук, будто упругая и сильная рыбина. И чем ловчее она выскальзывала, тем нестерпимей разгоралось у парней желание – поймать и не выпустить. А еще росла ненависть друг к другу, которая рано или поздно должна была прорваться, как созревший чирей.

Вот и прорвалась, когда минуло лето.

Договорились по-честному, без подвоха – драться до тех пор, пока один на землю не рухнет. И тот, кто рухнет, должен был, согласно уговору, отступить от Василисы и больше

никогда к ней не подходить. Дратся решили за околицей, один на один, ночью, чтобы никто не видел и чтобы сплетни по деревне не гуляли.

Сошлись, схлестнулись, и брел теперь Илья по ночной деревне победителем, временами дотрагивался рукой до лица и пугался – было оно разбухшим, глаз не видел, а губы, разбитые в кровь, едва-едва шевелились.

Добрел до колодца, опрокинул на себя ведро воды и взбодрился, ожил. Посидел на лавочке, приходя в чувство, отдышался и здесь же, на лавочке, сморился в сон; прилег, скрючившись, подтянул к животу ноги и уплыл, как на лодочке по тихой воде. Не болело, не ныло избитое тело, только вода журчала сквозь сон – медленно, певуче. Илья встрепенулся, открыл глаза – светало уже, над деревней заря занялась, вот-вот солнышко поднимется. Вскочил с лавочки и охнул в голос – все тело пронзило рвущей болью, будто шилом проткнули от пятки до головы. Охнул еще раз и снова сел на лавочку. И лишь теперь расслышал, что вода наяву журчит, и увидел, что у колодца стоит баба, пугливо поглядывает на него и наливает воду в ведро, готовясь подцепить их на коромысло. Пригляделся внимательней одним глазом, узнал: соседка, тетка Нюра Орехова, спозаранку за водой к колодцу пришла. Хотел поздороваться, но из губ, взявшихся двумя коростами, только неясное шипенье едва-едва выползло.

– Ты откуда, парень, приبلудился, такой страшный? – спросила тетка Нюра, покачала головой и добавила: – Как из преисподней тебя выпихнули...

Илья понял, что она его не узнает, и больше не пытался заговорить. Поднялся с лавочки, преодолевая боль, и потащился, прихрамывая на обе ноги, к дому.

Там, конечно, признали, шуму – до потолка. Отец даже пытался вожжи схватить, чтобы поучить неразумного сына уму-разуму, да мать не дала, повиснув на руках.

Но скоро шум стих, лицо выправилось, синяки отцвели, и явился Илья на вечерку, как ни в чем не бывало, подошел по-хозяйски к Василисе и при всех взял за руку. Она свою горячую руку не отдернула, ласковой была, послушной, частушек не пела и отдалась ему поздней ночью после вечерки так же ласково и послушно – как жена любимому мужу, которого надо уважать и слушаться. В первый раз прошептала тогда – Илюшенька, и по-иному с тех пор ни разу его не назвала.

На Покров сыграли свадьбу.

А после свадьбы, когда уже недели две прошло, встретились они случайно – Илья Жигин и Семен Холодов, которого не слышно было и не видно в последнее время, говорили, что он дома отсиживается и за ограду – ни ногой. А теперь вот вышел и сразу – нос к носу – встретились в переулке. Тропинка между высоких сугробов, наметенных вдоль заборов, узенькая, не разминуться. Остановились друг против друга, обменялись тяжелыми взглядами и вдруг, не сговариваясь, одновременно сошли с тропинки, каждый на свою сторону, увязнув по колено в сугробе, и разошлись, буровя валенками сыпучий снег. Но Семен все-таки не удержался, крикнул в спину Илье:

– Рано радуешься! Жизнь, она долгая, придет время – и я порадуюсь, вот увидишь!

На крик этот Илья не обернулся, даже ухом не повел, шагал, снова выбравшись на тропинку, и думал: «Да ладно, Сема, чего уж после драки-то... Радоваться никому не запрещено... Я же не враг тебе...»

Это было истинной правдой: заполучив Василису, не заметил Илья, как ненависть, сжигавшая его раньше, стала понемногу гаснуть, как гаснет костер, когда в него не подбрасывают сухих дров.

А жизнь, действительно, долгая, и много у нее припасено неожиданностей, самых разных. Не успел Илья в полной мере к семейной жизни привыкнуть, как его забрали в солдаты. Быстро, без задержки, он даже и чихнуть не успел, как оказался в каменной казарме пехотного полка, где сердитый фельдфебель и строгий унтер-офицер принялись усердно выбивать из него



деревенскую мешковатость и придавать ему вид молодцеватый и бравый, какой и должен быть у защитника Веры, Царя и Отечества.

Солдатом Илья Жигин оказался толковым и смышленным, на третьем году дослужился до унтер-офицера и даже вызвал из деревни в Ярск, где пехотный полк квартировал, Василису. Устроил ее на квартиру к одинокой старушке, и служба пошла веселее, теперь по воскресным дням он мог с женой видаться и даже гулять с ней по городским улицам.

Через три года, как и положено, служба закончилась, и получил унтер-офицер Жигин на руки хвалебную бумагу от начальства, а в ней было написано, что служака он верный, надежный и нет ему никаких препятствий в том, чтобы занять пост урядника, потому что, как написано было в той же бумаге, он «имеет благообразную наружность, крепкое телосложение, отличное здоровье, остроту зрения, чистую речь, беспорочное поведение, сообразительность и расторопность».

И поехал Илья Григорьевич в Елбань вместе с Василисой, которая была уже на сносях. Обустроились, обжились, Алешка родился – чего еще, спрашивается, нужно? Хлеб на столе есть, крыша над головой имеется, в доме лад и мир...

Да только рухнуло все в один миг, будто чашка из рук выскользнула, грохнулась о полвищу и разлетелась вдребезги.

Удастся ли заново собрать?

## 10

Спал Жигин чутко, в половину глаза, не забывал переворачиваться с одного бока на другой, когда припекало пламя от костра – боялся шальной искры. Но под утро, на удивление, поднялся с лапника, будто заново родился: отдохнувший и бодрый. Взял топор и в удовольствие, играючи, вдоволь нарубил сушняка, поджег затухающий костер и, когда выметнулся вверх яркий и жаркий огонь, принялся пристраивать перекладину, повесив на нее котелок, набитый снегом. Сварил мороженых пельменей, поел от души и собирался уже запрягать коня в кошевку, чтобы двигаться дальше, когда услышал неясное повизгиванье, словно щенок скулил.

Обернулся, нашаривая кобуру на поясе, и обомлел: от края поляны, выходя из рассветной сини, медленно, клонясь из стороны в сторону, двигалась елка. Довольно высокая, но не разлапистая, узкая, как будто ветки у нее были обрублены. И слышалось от этой елки то ли поскуливанье, то ли повизгиванье – тоненько тянулось, без перерыва.

В чудеса и видения, да и во всякую чертовщину, Жигин никогда не верил и твердо был убежден, что галиматья эта придумывается для баб, чтобы имелась у них причина почесать языки. Поэтому отшагнул за костер, скрываясь за густым дымом, и вытащил из кобуры револьвер. Елка продолжала двигаться. Прямо, не сбиваясь, приближалась к костру. И когда совсем приблизилась, когда озарилась пламенем, стало ясным, что никакая это не елка, а человек, густо обложенный с ног до головы еловыми лапами, примотанными к телу рваными ремками. Человек поднял руки, тоже обложенные ветками, и стали видны растопыренные, сведенные холодом пальцы. Он их сразу и сунул прямо в пламя, добредя до костра и упав на колени.

Жигин не выпускал из руки револьвера и цепко оглядывал поляну – не заявится ли еще какое-нибудь чудо? Но поляна была пуста, а за ближними деревьями не заметил он никакого шевеления.

Человек между тем все дальше протягивал руки в огонь, клонился вперед, словно и сам вместе с колючим и зеленым одеянием желал залезть в костер.

«Сгорит!»

Перепрыгнул через костер, отдернул в сторону длинное, худое тело и обомлел еще раз: ветки с головы свалились, под ветками оказался старый истрепанный трюх, продырявленный на макушке, а из-под трюха вылупились круглые, почти безумные глаза, без зрачков, блек-

лые, будто они тоже были обморожены и заледенели. Глядел этими неподвижными глазами, разевая рот, из которого с трудом выскальзывало повизгиванье, ловко сбежавший и бесследно исчезнувший Комлев. Глядел и, похоже, не понимал, кто перед ним стоит. А может, и вообще ничего не понимал.

Казалось бы, не тот случай, чтобы веселиться и насмехаться, но Жигин не удержался и коротко хохотнул: надо же такому фокусу сочиниться! Мозги свихнешь, а не додумаешься, как иной раз в жизни бывает. Обманул пристава, наговорив ему небылицу про Комлева, искать каторжного не собирался и даже думать про него не думал, а он вот, собственной персоной, как из яичка проклюнулся. Бери, пока не очухался, вяжи по рукам и ногам, вези в арестантскую, получай благодарность от Вигилянского...

Хохотнул Жигин и обрезался, рукой махнул и плюнул с досады – не нужен был ему сейчас Комлев! Ни теплый, ни мороженный – никакой! Куда он с ним? Обуза! И рушится вся задумка, с которой отправился в дальнюю дорогу, будто жирный крест на ней нарисовался.

«Не мог ты подальше от этого места бродить! Загинул бы в сугробе, а я ни сном ни духом, проехал мимо, и знать не знаю!» Но, думая так, досадуя, даже ругаясь черным словом, Жигин проворными руками делал дело: снега натолкал в котелок, котелок на перекладину повесил над пламенем, притащил из кошевки тулуп и принялся снимать с Комлева, разрывая ремки, еловые лапы. Под ними оказались лишь рубаха, рваная кацавейка и домотканые штаны, правда, на ногах были добротные, до колен, валенки. Била его крупная дрожь, и он все пытался, ерзая на коленях, придвинуться к костру.

– Да погоди ты, не шебутись, сиди тихо! – прикрикнул Жигин, заматывая его в широкий и длинный тулуп, из которого торчали теперь лишь макушка треуха да валенки. Замотал, придвинул к костру и уложил на лапник.

Хоть и каторжный, хоть и беглый, а все равно – живая душа, тварь божья, как ее на погибель бросить...

Снег в котелке растаял, вода нагрелась. Жигин поднял Комлева с лапника, стал поить. Тот сначала захлебывался, кашлял, но скоро выправился и осушил, не отрываясь, весь котелок до дна. Икнул, передернулся под тулупом и прилег на лапник, протянул руки к костру, но теперь уже не так безумно, не в самое пламя, а осторожно. Пальцами пошевелил, пальцы двигались.

«И какая нелегкая его занесла?! – недоумевал Жигин. – И почему без одежды оказался? Ладно, подожду еще, оклемается, тогда спрошу». Решив так, отошел от костра, принялся запрягать лошадь в кошевку, а когда запряг, нарубил еще сушняка и подбросил в костер. Больше делать было нечего. Пора забирать котелок, топор и тулуп, усаживаться в кошевку и ехать. А куда Комлева девать? Здесь оставить? Вот уж точно – наградил бес подарком! И с собой тащить не хочется, и бросить жалко. Ходил вокруг костра, думал и не трогался в дорогу.

– Гули-були-подбирали, постелечка холодна, одеялочко заиндевело, жопонька застыла, пачики-чикалды, шивалды-валды, жуй – не хочу, на зубах мозоль натерлась, ты, девица, песню спой да постой со мной! Привет-салфет вашей милости! – глухо, медленно, но вполне разборчиво донеслось из-под тулупа.

Жигин даже запнулся, когда услышал. Скоро, однако, оклемался каторжный! Живуч, как таракан запечный, в один раз не заморозишь. Комлев, словно подтверждая свою живучесть, поворочался на лапнике и сел на задницу, сунув голые руки в просторные рукава тулупа, посмотрел на Жигина оттаявшими глазами, они, оказывается, черные у него были, поблескивали, как угольки. Спросил сипло:

– Вережками вязать будешь или сразу в браслеты<sup>7</sup> закуешь?

---

<sup>7</sup> Браслеты – кандалы.

– Да некогда мне с тобой возиться, – насмешливо отозвался Жигин, – тулуп отберу и здесь оставлю. Зимуй до весны, до первой травки...

Комлев долго молчал, видно, обдумывал сказанное, и, когда обдумал, укорил:

– Ну, уж нет, урядник, ты свою службу править должен как следует, не лениться. Бери меня согласно закону, вези в арестантскую, иначе начальство осердится.

– Не осердится, нынче приказ вышел, чтобы всем беглым вольную дать – куда хотят, туда идут, где желают, там и помирают. Глянется такой приказ?

Дошло до Комлева, что урядник над ним шутки шутит, вздохнул с облегчением и совсем уже крепким, повеселевшим голосом попросил:

– Ты бы кипяточком еще раз побаловал, я, глядишь, и вовсе воспряну. А что касемо приказа... Рановато начальство его придумало, подождали бы до тепла, когда птички запоют – вот тогда в самый раз.

– Ишь ты, хитрый Митрий, до тепла... Тогда уж и березовой кашей<sup>8</sup> накормить... Не желаете?

– Нет, каши не надо, мне бы кипяточку! Яви такую милость, урядник...

– Ладно, согрею я тебе кипятку, а ты мне рассказывай – как здесь оказался? Где конь мой с кошевкой, где одежда твоя и по какой нужде ты деревом нарядился – все рассказывай. В полной ты моей власти теперь, и лучше не вилай, брехню твою сразу учую, рассказывай честно, как было.

– погоди, урядник, не гони, дай сначала кипяточку хлебнуть... Все поведаю, ничего не утаю...

И вот что поведал Комлев, когда осушил еще один котелок и окончательно пришел в себя.

Выскочил он из Елбани, не веря внезапно свалившемуся счастьем, будто оно само в шапку упало, взлетел на пригорок за селом, оглянулся на короткое мгновение, увидел высоко в небе черные лохмы дыма от горящего стога и раскрутил над головой конец вожжей; нахлестывал коня и гикал во все горло, ощущая в груди сладкое щекотание – воля! Что пожелаешь, то и твори: хоть пой, хоть плачь, хоть вплавь, хоть вскачь – никакая ограда тебя не держит. Гнал бедного коня, не давая ему передышки, и даже сам не понимал – куда гонит. Лишь бы подальше от Елбани и от урядника – к самому черту согласен был на рога сесть.

Только вечером и остановился, когда стемнело. Съехал с тракта подальше в ельник и перевел дух, упав в изнеможении на дно кошевки. А когда отдышался, задумался – в какую сторону ехать завтра, когда рассветет?

Но придумать ничего не смог и решил, что утро вечера мудренее. Свернулся клубочком и уснул.

Утром, так ничего и не придумав, выехал на тракт и потянулся, прижимаясь ближе к обочинам, за большим обозом, стараясь держаться от него на расстоянии. Ехали. И вдруг последняя подвода, замыкавшая обоз, замедлила ход, сани накренились, веревка лопнула и груз, мешки с мукой, посыпался в снег. Оказалось, что розвальни треснули. Останавливаться и стоять в отдалении Комлев не стал, чтобы подозрения не вызвать, подъехал к подводе и принялся помогать – в общей работе, знал он по опыту, люди ближе становятся. И не ошибся, никто его ни в чем не заподозрил, а из разговоров, которые вели между собой возчики, понял, что очень они опасаются: темный народишко в последнее время стал крепко шалить; хорошо, что еще повезло и не на Парфеновские прииски довелось ехать, там дорога – из рук вон, а разбойные людишки едва ли не под каждой елкой сидят. Слушал Комлев, запоминал, а когда сани исправили, у него и решение само собой испеклось – сворачивать надо с тракта на дорогу, которая к приискам ведет, найти тот темный народишко, о котором возчики говорили, да и прибиться к нему. Куда еще деваться беглому каторжнику?

---

<sup>8</sup> Кормить березовой кашей – наказывать розгами.

Так и сделал.

Скоро уже ехал в сторону приисков, озирался по сторонам и уверен был, ни капли не сомневаясь, что нужных ему людей он обязательно отыщет.

Отыскал.

Да только встреча получилось совсем не такая, как ему думалось и представлялось, а иная – шиворот-навыворот. Выскочили наперерез четверо бродяг, выдернули его из кошевки, верхнюю одежку содрали и бросили замерзать на пустой дороге. Кричал Комлев, леденев от страха, что он сам беглый и желал бы к ним присоединиться, но бродяги в ответ только ржали, как стоялые жеребцы, и ни одного слова не сказали в ответ на его истошные вопли. Завалились в кошевку всем скопом и укатали, выкинув ему, как отступное, непонятную тряпку, истасканную донельзя. Вот и пришлось Комлеву рвать эту тряпку на ленточки, обкладывать себя еловыми ветками и привязывать их, чтобы не свалились. Всю ночь брел он по дороге, боясь остановиться, а под утро учуял запах дыма и вышел, уже готовый Богу душу отдать, на костер Жигина.

– Ты не думай, урядник, я не совсем пропащий, – заканчивая свой недолгий рассказ, говорил Комлев, – я тебе до конца жизни благодарный буду и отслужу, если понадобится. Не скотина какая, добро помню...

Поднялся с лапника, поддернул тулуп и поклонился.

## 11

До чего же крепкая жила натянута была в худом и длинном теле Комлева!

Не иначе как железная.

Хоть бы чихнул один раз или кашлянул, хоть бы малую соплю из ноздрей выронил – ничуть не бывало! Завернутый в тулуп, подпоясанный веревкой, которую выдал ему Жигин, он время от времени соскакивал с кошевки, бежал, согреваясь, вровень с конем, и пар от него пыхал и отлетал в сторону гуще, чем от жеребца. Пробежавшись, плюхался на свое место в задок кошевки и приговаривал, каждый раз чего-нибудь новенькое:

– Курда-бурда, ваки-аки, на шишиге сеновал! Баба мужу кукиш кажет – съешь, родимый, пирожок! Белы снега выпадали, голы девки выбегали! Привет-салфет вашей милости!

Жигин только дивился, глядя на своего неожиданного попугайчика и слушая его неиссякаемую тарбарщину.

К вечеру они добрались до Первого Парфеновского прииска. Поднялись на горку и увидели сверху лежавший в распадке прииск: низкие, будто приплюснутые, длинные и серые строения, отдельные избушки, поставленные без всякого порядка, и дальше, на берегу речки, черные закопченные баньки. Жизнь в зимнее время на приiske затихала, потому что основная добыча шла летом, на речке Черной, поэтому все поселение выглядело пустым, словно вымершим.

Контора прииска стояла на самом въезде. Единственное здесь здание в два этажа с причудливой башенкой на крыше и с небольшой площадкой для обзора. Снег до конторы был расчищен едва ли не до самой земли – хоть на боку катись, и по сравнению с убойной дорогой короткий отрезок, в четверть версты, показался настоящей благодатью. Конь от такой радости сам побежал рысью, даже подстегивать не понадобилось.

– Сиди здесь, не рыпайся, и ни с кем не разговаривай, притворись, что немой, даже рот не открывай. И смотри у меня! – Жигин строго погрозил пальцем Комлеву, выбрался из кошевки и направился в контору, по дороге поправляя ремень, португеею и придерживая шашку, чтобы она не болталась и не била по ноге.

Управляющий прииском, горный инженер Савочкин, принял урядника радушно и по-домашнему, так как знакомы они были не первый год. Велел подать чаю, приказал, чтобы под-

готовили хорошую и чистую квартиру для постоя, предлагал даже истопить баню, но Жигин отказался. И от чая, и от бани:

– Благодарствую, господин Савочкин, да только лишние хлопоты не нужны. Я лучше завтра загляну, а сегодня еще с Земляницыным переговорить требуется...

– Коли так, не смею задерживать. А Земляницына сейчас разыщут.

Для наблюдения за порядком на приiske несли службу несколько стражников, а командовал ими отставной фельдфебель Земляницын – человек угрюмый, неразговорчивый и себе на уме. К редким приездам Жигина он всегда относился настороженно, будто ожидал от урядника подвоха, и не упускал случая намекнуть, что здесь, на приiske, он сам себе хозяин, за все отвечает собственной головой и в ревизорах не нуждается. Жигин с ним никогда не спорил, а намеки пропускал мимо ушей, прекрасно зная причину ершистости Земляницына. Хотя и должен был тот вместе со своими стражниками подчиняться становому приставу, а заодно и исправнику, на самом деле истинным командиром был для него Савочкин, а если взять выше – хозяин прииска, Павел Лаврентьевич Парфенов. Жалованье Земляницын и его стражники получал не из казны, а из рук хозяина, который, как известно, барин: что скажет, то и выполняй, если не желаешь без копейки на пропитание остаться.

Нашли Земляницына скоро. Он подошел, чуть запыхавшись, подал широкую и крепкую, как из дерева, ладонь, спросил:

– Как добрался, Илья Григорьич?

– Да, слава богу, добрался. Дорога до вас, сам знаешь...

– Это уж точно, по нашей дороге только чертям скакать. Пойдем на квартиру определяться?

– На квартиру успеем. В кошевке у меня одна личность сидит. Надо ее одеть и под замок куда-нибудь посадить, ну, и покормить чем найдется. И коня бы поставить...

– Да все сделаем, Илья Григорьич, не беспокойся.

Не прошло и получаса, как Комлев был одет, посажен в подвал конторы, под надежный амбарный замок, кошевка прибрана под навес, а конь поставлен в конюшню. Земляницын повел Жигина на квартиру и по дороге, издалека, завел разговор, пытаясь выяснить: по какой причине урядник на прииск приехал? Для отчетности и для порядку или иная причина имеется, и касается ли эта причина его самого, Земляницына? Отвечал Жигин, как ему казалось, просто и буднично:

– Да какая причина, обыкновенная. Беглого каторжного упустил недавно, пристав мне хвоста накрутил, вот я и полетел сломя голову. А беглый, который под замком сейчас сидит, сам нашелся, хочешь – верь, хочешь – не верь...

И поведал в подробностях всю историю, приключившуюся с Комлевым. Слушая его, Земляницын фыркал по-кошачьи, это означало, что он смеется, но глаза оставались настороженными. «Плохой я, видно, мастак тень на плетень наводить, – подумал Жигин. – Ну, и ладно, пусть поерзает, чтобы служба медом не казалась. А я свое дело делать буду, мне от этого дела никакого отступа быть не может!» Вслух же сказал:

– Давненько я у вас не бывал. Какие новости случились?

– Новостей особых нет, скучно живем, разве что иногда подерутся, так это случай привычный... Вот и пришли, заходи, Илья Григорьич.

Крепкий, видимо, недавно срубленный домик стоял недалеко от берега речки, на взгорке; перед домиком был огорожен жердями палисадник, и даже имелась низкая калитка, которую по-хозяйски распахнул Земляницын. Калитке и палисаднику Жигин удивился – не было раньше на приiske такой моды, ничего лишнего здесь со дня основания не городили, беспокоясь лишь о малом, чтобы тепло имелось да крыша не протекала. Богатства из земли доставали немыслимые, а бедность и неприбранность вокруг царили такие, будто собралась в одном

месте лишь голь перекатная. Да, порядки и нравы тут имелись свои, давно заведенные, и пере-  
иначивать их никто не собирался. Поэтому и удивился Жигин.

Поднялись на крылечко с маленькими перильцами, миновали сени, и на стук в двери  
отозвался женский голос:

– Заходите, не заперто!

Зашли, следом за ними, обгоняя, закатился морозный клубок и растворился в тепле на  
ярких, цветных половиках. Статная молодая хозяйка месила тесто, и руки ее, голые до локтей,  
были измазаны в муке.

– Принимай, Катерина, постояльца. Урядник Илья Григорьевич Жигин, прошу любить  
и жаловать.

– Милости просим, – отозвалась хозяйка, – раздевайтесь, в горницу проходите. Я хлеб  
только в печь поставлю и на стол соберу.

– Да нет, я проходить не буду, – отказался Земляничин, – мне еще кое-куда заглянуть  
надобно. Отдыхай, утречком забегу за тобой, тогда и поговорим. А теперь, как говорится, до  
свиданья, и приятных снов.

Дверь за Земляничным, впустив еще один белый клубок, захлопнулась, на улице едва  
различно скрипнула калитка, и Катерина еще раз пригласила:

– Да вы проходите, проходите, Илья Григорьевич, намерзлись, наверное, за дорогу-то,  
грейтесь. У меня тепло, печку только что истопила.

Жигин разделся, взял с собой кобуру с револьвером, шашку и прошел в горницу. Сел  
на широкую деревянную лавку, откинул голову к стене и с наслаждением вытянул ноги – при-  
томился он все-таки за последние дни. Спал мало, накоротке, и сейчас, оказавшись в чистой  
и уютной горнице, где все было обихожено старательными женскими руками и где каждая  
вещичка, даже цветная занавеска на окне, источала покой, едва удержался, чтобы не уснуть.  
Резко встал, прошелся по горнице. Передернул плечами, разгоняя дремоту, подошел к окну.  
Смотрел вверх занавески, как на улице сгущается темнота, и все думал, тянул, будто длин-  
ную, без обрыва, нитку, одну-единственную мысль, которая не давала ему покоя и которой он  
боялся больше всего; старался отогнать, но она упрямо возвращалась: «А не обманула меня  
Марфа? Не послала туда – не знаю куда, искать неведомо чего?» И сам же себя осекал: «Если  
уж запряг, ехать надо, а не под брюхом у коня мельтесить! Поехал – езжай!»

## 12

– Про Столбова забудь! И про Губатова забудь! Таких фамилий ты отродясь не слышал.  
И людей этих, соответственно, в глаза не видел. Еще раз повторить? Или сразу запомнишь?

– Не дурнее прочих, запомним.

– Вот и замечательно. А теперь запоминай дальше. Стоит перед тобой, собственной  
персоной, в натуральном виде и обличии, Егор Исаевич Расторгуев, представитель Общества  
«Сибирский мукомол», и едет он на Первый Парфеновский прииск по личному приглаше-  
нию тамошнего управляющего Савочкина, чтобы заключить договор на поставку муки. Тебя  
этот самый Расторгуев нанял для поездки как известного своей лихостью извозчика и обе-  
щал хорошо заплатить. Больше ты ничего не знаешь, и Расторгуева никогда раньше не видел.  
Запомнил? Повтори.

Извозчик, который совсем недавно подвез молодых людей, Столбова и Губатова, к  
Сибирскому торговому банку, а увез только одного Столбова, сидел сейчас на низкой и шаткой  
табуретке, смотрел снизу вверх узкими чалдонскими глазами, и взгляд его был совершенно  
бесстрастным, даже равнодушным. Повторять услышанное он не стал, дернул плечом и спро-  
сил:

– Деньги когда будут?

Столбов, назвавший себя Егором Исаевичем Расторгуевым, подошел к нему ближе, наклонился, заглядывая в лицо, и неожиданно рассмеялся:

– А ты, братец, оказывается, жадный! Что, разбогатеть не терпится? Ты потерпи... Вот съездим, и тогда полный расчет. Ночь еще здесь переночуем, а рано утром – в дорогу. Теперь повтори.

Извозчик смотрел не смаргивая, прежним бесстрастным взглядом. Молчал. Затем неторопливо поднялся, ударил ладонью о ладонь, будто невидимую пыль стряхивал, и в глазах у него мелькнула злая искра:

– Егор Исаевич Расторгуев, из «Сибирского мукомола», едет к Савочкину на прииск о продаже муки договариваться... Заплатить хорошо обещал, – извозчик помолчал и добавил: – да боюсь, как бы не обманул, шибко долго жданками кормит!

– Молодец! Но последнее, я думаю, говорить никому не надо.

– А я не кому-то, я тебе говорю, Егор Исаевич, чтобы не запомнил.

– Еще раз молодец! Но беспокоиться обо мне не нужно, память у меня хорошая. А теперь, как говорится, займемся сборами в дальнюю дорогу.

– Я пойду коня напою да сена дам. Мне собраться – только подпоясаться.

Извозчик, не оглядываясь, вышел на улицу, взял вилы под навесом и принялся распечатывать небольшой стог, стоявший в углу ограды. Сбил с него толстую снежную шапку, вывернул большой пахучий пласт и отнес в конюшню, где возле яслей уже дожидался конь, посверкивая в полутьме ярким карим глазом. Сено с шорохом легло в ясли, конь ткнулся в него губами, всхрапнул и мотнул головой, раскидывая гриву. Глаз вспыхивал, будто фонарь.

– Жуй давай, нет у меня хлеба, не захватил!

Конь снова мотнул головой, потянулся к хозяину, шевеля губами, словно хотел поцеловать. Извозчик потрепал его ладонью по крепкой изогнутой шее, вздохнул:

– Эх, Сема, только и есть у тебя одна родная душа – конская. Дожился... Ну-ну, не ластись, сказал же – нет хлеба, не взял. Прости, братец, забыл. Тут обо всем забудешь! Заблудился твой хозяин, Семен Холодов, крепко заблудился, а отступать некуда. Вот и поедем завтра кривое счастье искать. Так что жуй, братец, от пуза, когда еще доведется тебя кормить, я и не знаю...

Взглянул бы сейчас кто-нибудь из деревенских на Семена Холодова – мог бы и не признать. Да и как признать в суровом, угрюмом мужике, который, похоже, состарился раньше времени, когда-то молодого и улыбчивого парня? Времени прошло изрядно, жизнь его покачала вдоволь, научила смотреть вокруг прищуренным, холодным взглядом, а заодно и отметины на лбу оставила – две глубоких, продольных морщины, которые не разглаживались даже в том случае, когда он не хмурился. А хмурым и молчаливым он теперь был почти всегда и разговаривал подолгу и обстоятельно лишь с конем.

После памятной драки за околицей, когда сошлись они на кулаках с Ильей Жигиным, когда не удалось ему одержать победу и пришлось уступить Василису, после развеселой свадьбы, которая несколько дней шумела и плясала на Покров и на которой гуляла едва ли не вся деревня, а он стоял в ограде, слушал и ломал в бессилии сухие верхушки плетня; после всего этого, не в силах пережить позора и не в силах нарушить данного слова, Семен собрался в один день, закинул за плечи тощую и потому легкую котомку и ушел в город. А можно и так сказать – сбежал. Ни материнские слезы не остановили, ни отцовская ругань. Бежал, будто на пожар торопился успеть.

Добрался до Ярска, помыкался всласть по разным углам, перебиваясь с хлеба на квас, досыта наглядывая на разных людей и научился от них лишь одному правилу – никому доверяться нельзя. Только самому себе да еще коню, верному своему Карьке. Купил он его жеребенком, выкормил, выходил, сделался с его помощью городским извозчиком и даже сподобился

заработать денег, чтобы занять на них маленькую избенку на городской окраине и срубить возле нее такую же маленькую конюшню.

Жил Семен сам-один, правда, время от времени появлялись у него в избенке разные бабы, но подолгу они не задерживались, через месяц-другой он грузил их на сани или на телегу вместе со скарбом и отвозил туда, откуда взял. Бабы, как они потом сами рассказывали, долгой совместной жизни с ним не выдерживали: молчит, будто язык проглотил, смотрит в пол, угрюмо прищурившись, и какие у него мысли в голове шевелятся, никогда не узнаешь. А самое странное, опять же рассказывали бабы, что он всех их в сладкие ночные минуты называл Василисой. И хотя пить он не пил, черным словом не ругался и руку никогда на них не поднимал, бабы все равно боялись его и, устав от этой постоянной боязни, просились, чтобы он их с миром отпустил. Семен, не говоря ни слова, шел и запрягал Карьку.

Сейчас он снова ходил в холостяках, нисколько об этом не горюя, и думать не думал о семейной жизни, потому что с недавних пор его дорога резко вильнула в сторону и пошла петлять вкривь и вкось, будто Карька на ходу помочился и след на песке оставил.

– Доброго тебе здоровьичка, Семушка, – раздался за спиной вкрадчивый, едва слышный голос, будто на ухо прошептали.

Обернулся, уже зная, кто к нему пожаловал, и увидел в узком и высоком дверном проеме конюшни маленького, седенького, чуть сгорбленного старичка. Он опирался на длинный костыль, который доставал ему до самого подбородка, и смотрел круглыми, выцветшими глазами, которые тускло отсвечивали, будто были помазаны маслом.

– И тебе – здорово.

– Вот, Семушка, еле-еле дотянулся, ноги-то мои не бегают, отбегали мои ноженьки, и сам загибаюсь, как сучок на сухой лесине. Ты-то как поживаешь?

Семен оттолкнул Карьку, снова потянувшегося к нему, вышел из конюшни и молча махнул рукой, давая знак старику – иди за мной. Старик мелким, но очень скорым шагом последовал за ним и в ходьбе выпрямился, ровненьким стал, как костыль, на который он не опирался, а только переставлял. Миновали калитку, вышагнули на улицу и там, отойдя от своей избы, Семен внезапно остановился и обернулся, так резко, что старик с разгону едва не налетел на него.

– Ты, Капитоныч, больше не шастай ко мне! Ясно? Не выдал он денег, только пообещался. А задаток, который получил, мне теперь самому нужен. Съездим на Парфеновский прииск, вернусь, сам тебя найду.

– Ладно, ладно, Семушка, – легко согласился Капитоныч, – спешить нам с тобой некуда, подождем. Ну, и ласточка твоя подождет, посидит в клетке, пока ты едешь...

– Какая ласточка?! – дернулся Семен, наклоняясь вперед, словно его в спину толкнули. – Какая ласточка?! Говори, пень трухлявый!

Старик мгновенным и ловким движением перехватил костыль и остро заточенный конец уперся Семену в грудь, а вкрадчивый, едва различимый голос отвердел мгновенно и зазвучал зловеще:

– Ты дурачком не прикидывайся – какая, какая?! Немазана, сухая! Провернули дельце, в моих руках она теперь. Чуешь?!

– Где? – выдохнул Семен.

– А вот вернешься, родненький, с прииска, – прежним вкрадчивым голосом заговорил старик, растягивая слова, – тогда я тебе и расскажу, все поведаю, без утайки – где проживает, под чьим доглядом и сколько тебе еще сделать потребуется, чтобы ласточку эту в руки взять. Ладно, Семушка, заболтался я с тобой, а время уж за полдень. Трудиться надо, на хлебушко зарабатывать, а я тут лясы развожу. Пойду потихонечку...

Капитоныч обогнул Семена, будто столб, в землю вкопанный, и мелким, скорым шагом заторопился вдоль улицы, бойко переставляя длинный костыль. Семен обернулся, глянул



вслед, в худую, чуть сгорбленную спину уходящего старика и лицо его стало еще угрюмей, чем обычно. «Задушу когда-нибудь, кровь из носа, а задушу!» – думал он и сжимал тяжелые кулаки.

### 13

Но не так-то просто было задушить Наума Капитоновича Загайнова, которого все в округе, старый и малый, за глаза называли Капитонычем. Он владел маленьким и грязным трактиришком на окраине Ярска и одевался так, что был дополнением к затрапезному виду своего заведения. Ходил вечно в одной и той же пиджачной паре, до того залоснившейся, что она поблескивала – это в теплое время года, а в зиму натягивал на себя старенькую шубу с круглыми заплатами в разных местах, и никогда не расставался с длинным деревянным костылем, даже в своем трактире бодренько семенил с ним, громко постукивая острым концом в деревянный, всегда грязный пол. Говорил негромко, вкрадчиво и очень любил на людях при-bedняться, жалуясь на малые доходы и на телесные немощи.

Лишь немногие знали, что за стариковским обликом скрывается совсем иная натура – хищная, как у молодого волка. Злые языки поговаривали, что первый свой капитал Капитоныч добыл грабежами на тракте, с кистенем в руке, но, если не видели, значит, и спроса нет. Да никто и не спрашивал, дело давнее, и за давностью заросло густым бурьяном.

Появился Капитоныч на городской окраине лет двадцать тому назад, появился с деньгами, потому что за одно лето поставил трактир и сел в нем хозяином, принимая публику самую разношерстную, по большей части бедную, а порою, когда перепьют, то и буйную. Но умел как-то, изворачиваясь, управляться с ней, больших драк и смертоубийства не допускал, и полиция к нему претензий никогда не имела. Но опять же злые языки говорили, что полиции он взятки дает немалые, а в трактире у него время от времени темные личности появляются. Кто такие, чем занимаются – неизвестно, но слышали, что у трактирщика с такими личностями общие дела имеются. Сам Капитоныч, когда до него подобные слухи доходили, вздыхал, морщился, сетовал на людскую зависть и вполне резонно говорил, что народу в трактир ходит много, и паспорт здесь не спрашивают, только деньги берут, а на личиках у посетителей не написано – от какого промысла они доходы имеют.

Семен, когда занялся извозом и еще не обзавелся собственной избой, перебиваясь по съемным углам, частенько заглядывал в этот трактир, чтобы похлебать на скорую руку щей и выпить чаю. Знакомств по причине угрюмости своего характера ни с кем не заводил, в досужие разговоры не вступал – похлебал-попил, шапку в руки, дальше поехал.

Вот поэтому и удивился, когда во время очередного обеда подсел к нему хозяин трактира, прислонил костыль к стене и заговорил, будто они сто лет знакомы были:

– Слышал, Семушка, избенку для себя приглядываешь, так я тебе поспособствовать могу. Есть одна на примете, крепкая избенка, и просят недорого. А с хозяином у меня приятельство, если имеется желание, поговорю с ним, потолкаюсь в цене.

Избенку в то время, подкопив деньжонок, Семен, действительно, приглядывал, но все не складывалось: либо развалюха полная, с гнилыми нижними венцами, либо хозяева такую цену ломают, что глаза на лоб лезут... А жить по чужим углам уже изрядно надоело, будто горькую редьку грызть, и хотелось поскорее занять над головой собственную крышу.

Он помолчал, в упор разглядывая Капитоныча, и кивнул:

– Поговори.

На этом и расстались.

Обещание свое трактирщик сдержал: и с хозяином избенки потолковал, убедив его, что в цене надо чуть попятиться, и Семена привел, чтобы тот своими глазами увидел, какие хоромы

приобретает, – одним словом, свел продавца и покупателя и те, довольные друг другом, ударили по рукам.

Переехал Семен в собственное жилище, стал обустраиваться, и доволен был сверх всякой меры: куда ни ступишь, хоть в избе, хоть в ограде, все твое, собственное, и не требуется ни на кого оглядываться, как в чужих углах, где всегда пребывал на птичьих правах; передумают в любой момент, как в ладоши хлопнут, собирайся тогда и улетай.

В скором времени появился в гости к нему Капитоныч. В знак благодарности Семен выставил на стол угощение, но гость от угощения отказался. Хихикнул, прикрывая рот узкой ладошкой, жиденькую, седенькую бородашку огладил и сообщил:

– Я, Семушка, зелья не употребляю, ни капельки, даже на пробу, на язык, не беру. При моем занятии, когда этого добра вокруг хоть залейся, дашь слабинку – и пойдешь с холщовой сумой на пропитание выпрашивать. Прибереги для себя, на другой случай. А если отблагодарить желаешь, не откажи в малой просьбице...

Просьба Капитоныча показалась, на первый взгляд, пустяковой. Надо было съездить на другой конец города по указанному адресу, забрать одного человека и доставить в трактир, возле трактира подождать и обратно отвезти. Делов-то...

Семен запряг Карьку и поехал.

Пассажиром оказался худенький и тощий малый с остреньким лицом, толстым носом и шныряющими глазками – на хоряка смахивал. Заскочил в коляску, поерзал, устраиваясь, и побарски ткнул Семена в спину – трогай! По дороге он весело насвистывал, даже мурлыкал что-то под свой толстый нос и вид у него был такой довольный, будто поймал за хвост большую удачу.

Доставил его Семен к трактиру и принялся ждать. Долго ждал... Вот уже и полдень миновал, вот уже и солнце на закат покатилося, а пассажира все нет и нет. И Капитоныча нигде не видно. Когда уже тени перед сумерками по земле вытянулись, Семен потерял терпение и направился искать своего пассажира – где он пребывает, когда в обратный путь собирается?

В трактире за столами почти никого не было, лишь несколько мужичков, по виду деревенские, тихо-мирно сидели в углу и допивали чай, ведя между собой неспешный разговор. Полового тоже не было, а за прилавком, широко зевая, стоял буфетчик, и глаза у него от скуки сами собой прижмуривались, как у сытого кота на завалинке. Семен спросил у него, где хозяин, но буфетчик в ответ только плечами пожал и сообщил, что Капитоныча здесь с утра не видели, он обещался только завтра появиться. Тогда Семен спросил про своего пассажира, но и на этот вопрос услышал ответ, удививший его донельзя – не было здесь молодого парня, не заглядывал и не заходил, вон, в углу, все посетители, какие есть, сидят, второй самовар допивают...

Вышел Семен из трактира, ничего не понимая, и хотел уже ехать домой, как подлетела к трактиру обычная крестьянская телега, в которую запряжена была ходкая молодая кобылка – вся в мыльной пене, которая летела с нее хлопьями. Соскочил с телеги парень, похожий на хоряка, выдернул большой узел, перекинул его в коляску Семена, сам следом запрыгнул и scamандовал – поехали! Телега, на которой он к трактиру прибыл, покатила в другую сторону.

Все так быстро перед глазами мелькнуло, что Семен и понять ничего не понял, разобрал вожжи и повез своего пассажира туда, откуда доставил. Теперь парень не насвистывал, сидел неслышно и незаметно, и только глазами, злыми и настороженными, озирался по сторонам.

«Как есть хорек!» – подумал Семен, и кольнула его смутная догадка. Скоро она полностью подтвердилась. Когда на место приехали и стал парень вытаскивать из коляски узел, он возьми да и развяжись. Видно, в спешке завязывали, не затянули как следует, вот и распахнулся. Посыпалось на пыльную землю всякое барахлишко: подстаканники, ложечки серебряные, резные коробочки деревянные, в которых обычно кольца да серьги с брошками держат, шубка соболя, еще что-то, чего Семен не успел разглядеть – так быстро парень заново все

собрал. «Это он в трактир зашел, через черный ход выскользнул, а там его и телега дожидалась, – догадался Семен, – и никто ничего не видел, а я стоял, как дурак, и ждал».

Парень вскинул узел на плечо и оскалился, показав мелкие зубы, предупредил:

– Не вздумай вякнуть! Пришьем!

Побежал не оглядываясь, и узел подпрыгивал на его спине, словно был живой.

Вечером в гости к Семену пришел Капитоныч. Поздоровался, пожаловался на больные ноги, на одышку, а затем, без всякого перехода, спросил:

– Догадался, кого сегодня по городу катал?

Юлить Семен не стал, ответил, как всегда, коротко, чтобы лишних слов не тратить:

– Сороку-воровку по полету видно.

– Вон ты как, мудрено – по полету! Ну-ну, кхе-кхе... Если догадался, Семушка, тогда слушай меня в оба уха. Никуда теперь от меня не денешься, при мне будешь, как сторож при амбаре. Правда, платить тебе буду поболее, чем сторожу. Завтра в трактир заглянешь, буфетчик денежку тебе выдаст. Сам-то я денег никогда с собой не ношу, потерять боюсь, потому и карманы пустые. Ладно, Семушка, пойду я, раз договорились.

– Как это – договорились? О чем?

– Да неужели непонятно?! – искренне удивился Капитоныч. – Ты возишь, когда тебя попросят, помалкиваешь, а тебе за это денежки дают.

– А если не соглашусь?

– согласишься, Семушка, согласишься, денежки всегда пригодятся. Вдруг конь сдохнет или изба сгорит, жизнь есть жизнь, она завсегда любит разные коленца выкидывать.

С тем и ушел Капитоныч, оставив Семена в раздумьях.

Понимал он, что угроза, хоть и не напрямую высказанная, может исполниться. И конь от какой-нибудь отравы может сдохнуть, и изба загореться – все при желании провернуть возможно. И что тогда? Снова по углам скитаться и каждую копейку беречь, чтобы заново избой и конем обзавестись? Но это опасение было не самым главным. Главное, что вспыхнуло и разгорелось в душе желание – разбогатеть! Подсовывала судьба на блюдечке удобный случай – бери, пользуйся, не прозевай!

Но не само богатство в чистом виде нужно было Семену Холодову. Нужно оно было лишь для того, чтобы осуществить заветную мечту, простую и ясную, как солнечный полдень – увести Василису от Ильи Жигина, нынешнего елбанского урядника, и жить с ней. Давняя, сладкая, выстраданная мечта... Родилась она еще в те дни, когда стоял в ограде своего дома и слушал, как гремит, поет и пляшет в деревне чужая свадьба. И после, когда перебрался в город, она никогда его не отпускала и жила в нем, как живет в человеке нутряная и тяжелая болезнь, которая рано или поздно должна либо излечиться, либо замучить до смерти.

Помирать Семен не собирался.

Он хотел предстать перед Василисой богатым, удачливым, предстать и сказать ей: видишь, какое счастье и довольство для тебя выстроил, собирайся, пошли со мной.

И уверен был, что она не откажется.

Все эти годы он тайно следил, не попадая на глаза, за семейной парой Жигиных, специально в Елбань наведывался, чтобы глянуть издали, изнывал от нерастрченного чувства и баб в сладкие минуты называл Василисой.

О многом передумал Семен, когда ушел от него Капитоныч.

Утром поднялся и прямоиком, не запрягая Карьку, отправился в трактир, где буфетчик молча выдал ему деньги. Извозным промыслом таких денег за месяц не заработаешь. Последние сомнения отпали, и стал Семен Холодов палочкой-выручалочкой для воровской шайки, которая находилась под жесткой и властной рукой седенького и благообразного старого трактирщика Наума Капитоновича Загайнова.

14

Выехали из Ярска в сторону Парфеновских приисков на исходе ночи, когда на улице было еще темно, а в небе густо помигивали звезды. Миновали пустые городские улицы, затем Семен направил своего Карьку вниз по крутому спуску; выкатились на лед Бушуйки и пухлый снег полетел из-под копыт, словно поднятый ветром.

– Почему по речке? – спросил Столбов-Расторгуев. – Что, другой дороги нет?

– Есть дорога, мимо будочника<sup>9</sup>, да там наверняка крючки<sup>10</sup> дожидаются. Желаете поговорить с ними? Могу доставить, – Семен сердито сплюнул на сторону и подивился глупому вопросу.

Столбов-Расторгуев, видно, тоже сообразил, что ляпнул несурзное, поэтому замолчал и закрыл лицо мохнатым воротником шубы.

По льду Бушуйки выбрались из Ярска, а уж после, завернув длинный крюк, оказались на тракте, где и затерялись среди других подвод и саней, которые густо ползли с утра, извлекая полозьями из промерзлого снега веселый, протяжный скрип.

Солнце под этот скрип поднималось долго, тяжело, будто примерзло. Но поднялось, вспыхнуло, и заснеженная округа заиграла, заблестела и заискрилась, высекая из глаз слезу и заставляя прищуриваться. Пронизанные светом, реденько, медленно закружились снежинки.

Тихий, добрый начинался день, и была полная уверенность, что не принесет он плохих вестей или неожиданной беды.

С таким настроением и ехал Семен по тракту, не подгоняя и не подстегивая Карьку, который и сам прекрасно знал, что от него требуется, шел ровной рысцей, покрываясь на потных боках густым инеем.

На постоялом дворе перекусили, попили чаю, передохнули, тронулись дальше. И все это время Столбов-Расторгуев молчал, будто Семена с ним рядом не было, молчал и думал о чем-то своем. Одет он сейчас был в богатую шубу, на ногах – белые катанки, а на голове – большая бобровая шапка, издали похожая на воронье гнездо. Важным казался, степенным, не ниже, чем первой гильдии купец – на драной козе к такому не подъедешь. «Как он обличие-то меняет, вместе с одежкой, – удивлялся Семен, – будто другой человек. И осанка другая, и походка. Чудеса, да и только!»

Поздно вечером добрались до Елбани, устроились на постоялом дворе, и Семен, отказавшись от ужина, засобирился, торопливо натягивая полушубок.

– Ты куда? – вскинулся Столбов-Расторгуев.

– Знакомец здесь у меня, схожу, попроведаю, давно не виделись.

– А ты не хитришь, братец, может, обмануть меня надумал?

– Была бы польза, обманул, – спокойно отвечал ему Семен, запахивая полы полушубка. – А раз пользы нет, какая мне выгода обманывать? Денег-то до сих пор не дал, пообещал, а не дал.

– Потому и не дал, чтобы соблазна у тебя не возникло. Пока денег не получишь, будешь меня беречь, как невесту непорочную. Верно? Ладно, ступай, только помни, руки у меня длинные, если что – достану.

«Руки-то, даже длинные, и обломать можно, если постараться, – Семен заглянул под навес, проверил Карьку, скормил ему хлебную краюшку, посыпанную крупной солью, и направился вдоль по улице, продолжая беседовать сам с собою: – Не знаешь ты меня, господин Рас-

---

<sup>9</sup> Будочник – городской сторож, несший службу возле будки.

<sup>10</sup> Крючки – городские и вообще чины полиции.

торгуев, или Столбов, как там тебя зовут... Не знаешь! А я, если разозлить, из любой глотки свое вырву и не чихну! Сколько лет такого случая ждал! Не упущу!»

И шаги у него становились все тверже и быстрее.

Дорога, по которой шел, была ему знакома, проезжал здесь с Карькой, когда навевывался в Елбань, чтобы издали, тайком, увидеть Василису. Поэтому не сбился, не заплутал, быстро вышел прямо к дому урядника Жигина. Приблизился к самым воротам, остановился. Окна в доме были непроницаемо темны, снег не расчищен и наметенный сугроб поднялся уже до середины калитки. Семен стащил рукавицу, горячей ладонью провел по лицу – неужели верно, неужели Капитоныч правду сказал? От увиденного его даже в пот кинуло.

«До конца надо удостовериться, чтобы никакой оплошки... Не спеши, Семен, не спеши... Подождать требуется, узнать в точности». Прохаживался перед домом, оглядывался по сторонам, надеялся – должен ведь кто-то появиться, время не совсем позднее, в домах свет виден, значит, не спят еще. Зайти к кому-нибудь из соседей, чтобы расспросить, остерегался – мало ли какая неожиданность может случиться... Лучше подождать.

И правильно сделал, что не поторопился. На его удачу возвращался, видно, с речки, от проруби, парнишка, ведя в поводу неоседланного коня. Точно, на водопой водил. Семен осторожно, чтобы не напугать, окликнул его, спросил: не знает ли он, где сейчас урядник Жигин находится?

Парнишка оказался бойким, небоязливым и рассказал в подробностях, что Алешка у Жигиных помер, мать его Василиса пропала, как сквозь землю провалилась, а сам Жигин уехал по казенной надобности, не сказав куда, и только попросил соседей, чтобы они приглядели за коровой и за телятком. Соседи для удобства скотину на свой двор перегнали, и ограду у Жигиных теперь никто не чистит, поэтому и намело целые сугробы...

Семен уважительно пожал парнишке руку, как большому мужику, и отправился в обратный путь – на постоянный двор.

Вот и разрешились сомнения, которые мучили его со вчерашнего дня, вот и убедился, что Капитоныч сказал правду. Значит, захлопнулась ловушка и нет из нее выхода, кроме одного... Вспомнилось, как говорил старый трактирщик:

– Ты у меня, Семушка, весь в руках, с потрохами, и плясать теперь будешь, как я тебе прикажу!

– Это мы еще поглядим, кто у нас плясать будет и под чью дудку! – вслух грозился сейчас Семен, торопясь на постоянный двор, а тогда, при разговоре с Капитонычем, он промолчал. Вида, правда, не подал, сохраняя угрюмое спокойствие, а в душе дрогнул – очень уж неожиданными были слова, которые он услышал.

– Делишки наши так складываются, Семушка, что стал ты у нас наипервейшей фигурой, – вкрадчиво говорил Капитоныч и постукивал деревянным костылем в половицу. – Мы теперь без тебя, как без рук. Посодействуй, помоги нам, грешным...

Прибеднялся, как всегда, Капитоныч: не делишки, мелкие и сиюминутные, складывались в последнее время, а большие, пугающие дела завернулись круто и быстро. Не так давно навевались в трактир на окраине два молодых щеголеватых господина. Раз навевались, два навевались – тихие, смирные, вежливые, и непонятно было, каким ветром заносило их в затрапезное заведение. Таким господам прямой путь – на Почтамтскую улицу, в шикарный ресторан с официантами, а они в трактире сидят, чаек прихлебывают и даже внимания не обращают на грязный передник полового. На третий раз вызвали они на беседу хозяина, поговорили с ним недолго, и тот, постукивая костылем, повел их из общего зала в отдельную комнату, куда никому из посторонних доступа не было и где Капитоныч всегда вел секретные разговоры. Как они там договаривались и о чем, осталось неизвестным – не для того ведь уединялись, чтобы потом всем рассказывать. Но результат разговоров явился быстро – требуется неизвест-

ным господам лихой извозчик, который хорошо знает город и сможет уйти от погони, если она случится.

Извозчиком таким, ясное дело, был Семен. Кого еще мог призвать Капитоныч? Деньги предложили немалые, и Семен согласился. А когда узнал накануне, что ему предстоит сделать, затосковал: банк грабить – это тебе не ворованное барахло с места на место перевозить. Но отступить было поздно – задаток взял и часть его уже потратил, а самое главное, хорошо знал Семен, что не простят ему отступного слова. Прибьют и так спрячут, что до второго пришествия и до восстания мертвых никто не отыщет.

Банк взяли чисто, если не считать погибшего Губатова, который остался лежать у входа с простреленной грудью. Но о нем никто не горевал, даже Столбов. Этот господин оказался очень уж проворным и осторожным, как пуганый и стреляный зверь. На полном ходу, как только влетели на окраину, сиганул из кошевки вместе с мешками, успев лишь Семену крикнуть:

– Сиди дома, жди!

Куда он дальше кинулся, разглядывать было некогда. Семен домчался до своей избы, Карьку – в конюшню, кошевку – под навес, а сам вывернул подгнившую половицу возле стены, которую давно хотел заменить, и принялся строгать и подгонять на ее место припасенную еще летом толстую сухую плаху. За работой хотел успокоиться и мысли привести в порядок, да и опасался крепко – не нагрянет ли следом полиция?

Но полиция не нагрянула.

А вечером, когда стемнело, пришел Столбов, выставил на стол бутылку водки и попросил Семена, чтобы тот выдал стаканы и хлеба. Вдвоем, не чокаясь и молча, будто на поминках, выпили они всю водку, до донышка, и легли спать.

Мешков при Столбове не было. Пришел он налегке, без всякого узелка, и даже водку принес в кармане полушубка, в который успел где-то одеться.

Дальше началось самое неожиданное.

С выплатой остальных денег господин Столбов, именуемый теперь Расторгуевым, не торопился. Отделялся обещаниями, говорил, что надо еще подождать, чтобы все вокруг успокоилось, а после объявил, что к оговоренной сумме он еще значительную добавку приложит, но для этого надо съездить на Парфеновские прииски, чтобы он смог там уладить свои дела.

Похоже, решил Семен, начинается сказка про белого бычка. И опасения своими поделился с Капитонычем, попеняв ему, что всунул тот своего извозчика в дело мутное и невыгодное. Но у старого трактирщика, оказывается, совсем иной, собственный, интерес имелся. Когда Семен об этом интересе услышал, поначалу даже опешил – не ожидал от старика такой прыти!

– А мы, Семушка, у него все денежки заберем, какие он нагребил. Раз он слова своего не держит, возьмем да накажем. Только самую малость узнать надо – где он мешки свои хранит и кто ему еще помогает? Не могли же они вдвоем на такое дело решиться! А заодно покараулить, чтобы не улизнул. Я теперь, Семушка, почаще к тебе навещиваться стану, ты мне все будешь рассказывать, а я тебя не обижу. Я тебя, Семушка, по-царски награжу. По-царски! Я тебе красавицу-Василису предоставляю, для утех, для любви и ласки. Желаеть владеть Василисой? Же-ла-ешь! Чего тут спрашивать... Вот и будешь владеть.

Все-таки искусный мастер, старый трактирщик Наум Капитонович Загайнов, мало кто умеет так ловко ставить петли на людей. И в землю, кажется, смотришь, глаза не поднимаешь, и неосторожный шаг боишься сделать, а все равно – ступил в очередной раз, и ногу стальной проволокой захлестнуло. Так и с Семеном получилось, который расчувствовался на пьянке, устроенной после удачного дела, рассопливился и даже слезу пустил, рассказывая о своей тайной любви, о Василисе. Все за столом хмельны были изрядно, все говорили разом, перебивая друг друга, никто никого не слушал, и не вспомнили бы назавтра о пьяных откровениях

Семена, если бы не Капитоныч – он-то вина не пил. Услышал и не забыл, пришло нужное время – и затянул стальную петлю, да так крепко, что не вырваться.

Согласился Семен, на все условия согласился, будто голову потерял, и глаза туманом затянуло – ничего и никого в том тумане не различал, кроме любви своей, Василисы. Сладко представлялась ему будущая жизнь: и денег – полная охапка, и Василиса рядом, а брошенный Жигин прозябает в своей Елбани, исходит на дерьмо от злости, но сделать ничего не может и остается ему лишь одно-единственное – утереться.

Сейчас, торопливым шагом покидая темную улицу, Семен окончательно удостоверился, что сказал ему Капитоныч чистую правду: выкрали Василису из дома, увезли неизвестно куда и держат в потайном месте. И пока они ее там держат, Семен никуда не убежит, будет ходить рядом, как миленький, помня о том, что на ноге у него затянута стальная петля.

«Ладно, потерплю, а после еще поглядим-понюхаем, кто кого перемудрит!» – с этой уверенностью он и вернулся на постоянный двор.

Столбов-Расторгуев встретил его насмешливым вопросом:

– Что так быстро? Даже чаем не напоил твой знакомый?

– Да он третий день, сказали, не просыхает. Какой там чай! Придется на сухую спать ложиться.

– Это к лучшему, голова завтра светлее будет. Давай, братец, укладываться, вставать рано, выспаться нужно...

## 15

Ничего лучшего нельзя придумать в зимний морозный вечер, как сидеть в старом уютном кресле, укрывшись мягким и теплым пледом, слушать, как в печке-голландке упруго гудит огонь, и перелистывать книгу, прищуриваясь от яркого света лампы, накрытой розовым абажуром. Чуть заметно шевелятся на полу слабые отсветы, и кажется, что это оставляет следы большое, ласковое существо, незримо проживающее в доме и распространяющее уют на все, что имеется в этих стенах, даже на самые малые вещицы и безделушки.

– Марфуша, радость моя, а не побалуешь ты меня чайком? – пожилая дама, сидевшая в кресле, закрыла книгу, нежно погладила ее длинными, узкими пальцами и продолжила совсем иным голосом: – Влюбленный счастлив – и огнем живым сияет взор его; влюбленный в горе слезами может переполнить море. Любовь – безумье мудрое: оно и горести и сладости полно! Как верно сказано! Божественные люди писали божественные слова!

Она откинула плед, порывисто, по-молодому поднялась из кресла. Высокого роста, седовласая, с большими и печальными глазами, под которыми сплелась мелкая сеточка морщин, дама не казалась старухой – наоборот, прямая спина, гордая осанка и царственный поворот головы изумительно молодили ее, будто скидывали десятки лет, ведя обратный отсчет прожитой жизни.

Походка у нее была плывущей и величавой, подол длинного, в пол, платья почти не колыбался.

Дама подошла к шкафу, еще раз погладила книгу длинными пальцами и поставила ее на полку, обернувшись, скрестила на груди руки, вздохнула:

– Ничего не жаль, Марфуша, честное слово! Об одном лишь жалею, что не сыграть мне больше Джульетту, никогда не сыграть. А мудрость слов в полной мере дошла до меня только сейчас. С бо-о-льшим опозданием!

– И об этом тоже не жалеете, – звонким голосом отозвалась Марфа Шаньгина, ловко расставляя на столе чашки, блюдца, розетки с вареньем и раскладывая с веселым стуком серебряные ложечки, – садитесь лучше чай пить.

– Да, да, будем пить чай, и ты рассказывай мне про свои дела. Только подробно и обстоятельно, а не так, как обычно – с пятое на десятое скачешь...

– Хорошо, хорошо, Магдалина Венедиктовна, буду рассказывать подробно и обстоятельно, только вы, ради бога, садитесь и чай пейте. С булочкой! Совсем ничего не кушали, сейчас проверила – не тронута! Зачем тогда я старалась?

– А ты не старайся. Ты, Марфуша, запомни, что артистке, да еще моего весьма приличного возраста, достаточно малого кусочка. И ей хватит, с избытком. Она ведь целыми днями в кресле сидит и ничегошеньки не делает. Можно даже совсем ее не кормить.

– Ой, Магдалина Венедиктовна, вы скажете, я даже не знаю... Не кормить! А чем питаться тогда? Святим духом?

– Великим духом искусства, радость моя! Как бы я сейчас сыграла Джульетту! Ты даже не представляешь!

– Да откуда я представить могу? В нашем ярском театре Шекспира не играют.

– Запомни, в этом городе нет театра! Есть ярмарочный балаган, имеющий наглость называться театром!

– Да вы не сердитесь, Магдалина Венедиктовна, лучше булочку кушайте и чай пейте, а я вам рассказывать буду...

– Верно, верно, раскипятилась, как самовар. Рассказывай, радость моя, рассказывай...

Марфа, оттопырив мизинчик, взяла чашку, чуть отхлебнула чаю и уже вздохнула, готовясь говорить, но Магдалина Венедиктовна сверкнула на нее сердитым взглядом и даже ладошкой по столу стукнула, выражая свое возмущение:

– Марфуша! Я не вынесу! Возьму и отломлю твой мизинец! Или отрежу ножом! Так пальчики оттопыривают только падшие женщины, когда увлекают своих клиентов и желают показать, что они из благородных. Сколько раз еще повторять?!

– Ой, забылась я, Магдалина Венедиктовна, простите. Учите, учите меня, бестолковую...

– Ты не бестолковая, ты взбалмошная. Итак, я тебя слушаю.

Марфа глянула на чашку с чаем, сунула руки под столешницу, еще раз вздохнула и приступила к рассказу о событиях, произошедших за последнее время. Стараясь не торопиться, обстоятельно и с подробностями поведала она сначала о своем визите к генерал-губернатору, о том, что он сказал и о том, как смотрел на нее добрым взглядом, затем приступила к дальнейшему рассказу: бумаги, подписанные полицмейстером, ей доставил нарочный на дом, и она поначалу изрядно испугалась, когда увидела в дверях полицейского. Расписалась за полученные бумаги и сразу же поехала к нотариусу, который, очень удачно, оказался в своей конторе. Вместе с нотариусом отправились они к хозяевам дома, составили купчую, и в тот же день она передала им деньги. Хозяева попросили подождать до воскресенья, чтобы вывезти вещи, и получается, что уже на следующей неделе можно будет приступать к ремонту и к остальным хлопотам по устройству школы.

Слушала ее Магдалина Венедиктовна очень внимательно, пила чай, не притрагиваясь к булочке, и большие темные глаза поблескивали, словно время от времени в них вспыхивали огоньки. Она и за столом сидела прямо, не сгибая спины, гордо держала голову, и, глядя на нее, можно было подумать, что она не чай пьет, а заседает за судейским столом, и после того как выслушает, вынесет свой суровый вердикт.

Но нет.

Дослушав Марфу, улыбнулась, и весь ее строгий вид испарился – добрая теперь сидела, ласковая, будто родная мать, которая радуется за свою дочку. Она всегда такой была, бывшая актриса Магдалина Венедиктовна Громская, между сменами ее настроения – от гнева до искреннего умиления – не имелось порою даже малого зазора. Менялась мгновенно. И никогда нельзя было угадать, что последует через секунду. Вот и сейчас, продолжая улыбаться, отставила чашку с чаем, протянула руки и позвала:



– Иди ко мне, радость моя, дай я тебя поцелую! Так счастлива за твои успехи!

Они обнялись, расцеловались, и Магдалина Венедиктовна сморгнула нечаянно выско-  
чившую слезу.

За окном прибывал мороз, и стекла окон все гуще покрывались диковинными узорами. Неяркий свет уличного фонаря пронизывал их, и казалось, что, искрясь, они двигаются, словно живые. Высокие напольные часы с длинным медным маятником громко, протяжно отбили оче-  
редной час, и Магдалина Венедиктовна, вздрогнув от неожиданности, пожаловалась:

– Никак не могу привыкнуть, эти часы бьют для меня всегда невпопад! Выдастся хоро-  
шая минута, спокойствие наступит, а они – дзынь, дзынь! Даже вздрагиваю иногда! Марфуша,  
продай их кому-нибудь, а мне купи ма-а-ленькие часики, чтобы они неслышные и без всякого  
звона – тик-так, тик-так...

– Так есть же часы такие, Магдалина Венедиктовна, вы же сами велели остановить их и  
спрятать. Они неслышные...

– Да? И куда ты их спрятала? Доставай!

Распахнув высокий двустворчатый шкаф, Марфа поставила маленький стульчик, встала  
на него и потянулась к верхней полке, но нечаянно задела какие-то бумаги, они упали и веером  
разлетелись по полу.

– Ой, безрукая, сейчас соберу! – она соскочила со стульчика, стала собирать бумаги  
и вдруг остановилась, разглядывая пожелтевшую, неровно обрезанную половину газетного  
листа, – Магдалина Венедиктовна, это же вы! А почему медведь рядом нарисован?!

– Медведь? Какой медведь? А-а-а... погоди, прочитай, что там написано.

Марфа шагнула ближе к лампе и принялась читать:

– Второго января почтовый поезд номер три Николаевской железной дороги следовал в  
Москву при исключительных обстоятельствах, благодаря которым багаж в пути не выдавался  
ни на одной станции до Москвы, начиная от станции Кулицкой. Дело было в следующем.  
Ночью на станции Вышний Волочек неизвестный мужчина сдал в багаж большую бочку весом  
в три пуда десять фунтов, адресовав груз в Москву. Когда на станции Лихославль из багаж-  
ного вагона начали выгружать багаж, то багажный кондуктор заметил, что багаж шевелится.  
Было ясно, что в бочке находится живое существо, и напуганному воображению кондуктора  
представилось, что в бочке заделан вор с целью в пути выбраться из бочки и обокрасть денеж-  
ный сундук или же похитить ценный багаж. Кондуктор занял место в своем отделении при  
вагоне и начал чутко прислушиваться, что будет в вагоне делаться. Ждать пришлось недолго:  
скоро он ясно услышал в вагоне тяжелые шаги, а затем треск железного денежного сундука.  
Наконец что-то упало тяжелое, массивное, с грохотом и стуком, но что именно, кондуктор не  
смог сообразить. В это время вагон подошел к станции Кулицкой. Багажный кондуктор поднял  
тревогу, собрал станционную жандармскую полицию, сторожей, поездную бригаду, и вся эта  
толпа устремилась к багажному вагону. Кондуктор открыл замок, отодвинул дверь – все ахнули  
и отшатнулись от вагона: в углу его стоял большой медведь, который при виде народа неистово  
заревел. Моментально дверь была заперта, и редкий багаж с поездом покатил в Москву. Здесь  
опять были созваны сторожа и жандармы, и было приступлено к ловле зверя. Сторожа приду-  
мали накинуть на него тяжелый и толстый брезент, и этим путем им удалось овладеть медве-  
дем, после чего его связали и перетащили в особое помещение, где он и оставлен впредь до  
распоряжения начальства или появления хозяина. При осмотре багажного вагона оказалось,  
что Миша, соскучившись сидеть в бочке, выдавил в ней дно и, выбравшись, начал гулять по  
вагону. Наткнувшись впотьмах на денежный ящик, он почти отломил у него крышку, потом  
на его дороге оказался большой пожарный бак с водой. Медведь напряг силу и свалил его. В  
заключение он переломал в вагоне все пожарные ведра. Разлившейся из бака водой подмочено  
было очень много багажа и совершенно залита вся железнодорожная корреспонденция. Рас-  
сказывают, что, когда медведя, обнаруженного в багажном вагоне, поместили в сарай, от него

сильно пахло перегорелой водкой. Предполагают, что прежде, чем поместить зверя в бочку, его напоили до бесчувствия. Этим объясняется то обстоятельство, что зверь в первое время пути не подавал никаких признаков жизни.

Магдалина Венедиктовна, слушая чтение Марфы, смеялась, взмахивала руками и сквозь смех просила:

– Там еще один лист, про ту же историю... Найди...

Марфа быстро нашла и продолжила читать:

– История с медведем имела характер святочной шутки. Господин Шубинский, известный всей Москве своим богатством и неординарными поступками, хотел сделать сюрприз артистке Магдалине Громской. Он обещал ей подарок из деревни. Артистка ожидала деревенских продуктов – масла, птицы и тому подобного. Получился бы громадный эффект, если бы бочку удалось доставить по месту назначения без всяких особых приключений. Бочку бы вскрыли, и вместо масла из кадки вывалился бы медведь. Сколько бы смеха, шуток, разговоров! Затея очень оригинальная и... святочная. Надо же было медведю проснуться раньше времени и испортить эффект шутки. Московское общество покровительства животных живо заинтересовалось случаем жестокого обращения с медведем, выразившемся в отправке медведя в бочке, и решило со своей стороны расследовать этот случай, чтобы привлечь отправителя к законной ответственности. Весь город вдруг заинтересовался медведем. Везде и все только о нем и говорят. Точно все внезапно впали в детство. И не только говорят, но и рвутся наперерыв друг перед другом видеть зверя. За два дня Николаевский вокзал посетило столько желающих видеть медведя, сколько зоологическому саду не собрать в течение десяти лет. С утра до вечера толпится народ около медведя. Это не серая толпа простолудинов. Поглядеть на медведя приезжает публика в соболях и бобрах, на собственных рысках. Господин Шубинский на вокзале не был, но прислал своего управляющего. Счет, представленный дорогой за медведя, показался управляющему слишком велик, и он отказался платить, видимо, полагая, что такой расход господин Шубинский не пожелает утвердить. Тогда объявили о продаже медведя с аукциона на Николаевском вокзале. Толпа собралась в несколько сот человек, но желающих торговаться нашлось только пятеро. Но и тем не пришлось торговаться: аукцион не состоялся. Управляющий господина Шубинского уплатил железной дороге сто двадцать шесть рублей двадцать восемь копеек и получил медведя. Зверя усадили в бочку, завернули последнюю в брезент и увезли. Закончилась же курьезная история с пересылкой медведя, напоенного водкой, в Вышнем Волочке, где по инициативе общества покровительства животных дело рассматривалось у мирового судьи. Ответчиком на суд явился не сам миллионер Шубинский, а один из его служащих, крестьянин Малофеев, которому будто бы и пришла эта оригинальная идея усыпить медведя посредством водки и перевезти его в бочке в Москву. Суд приговорил Малофеева к уплате штрафа в двадцать пять рублей, а в случае несостоятельности к аресту на пять суток. Крестьянин Малофеев заявил, что столь большая сумма является для него непосильной и поэтому он согласен отсидеть пять суток на казенном пропитании...

Смеялась Магдалина Венедиктовна, как девчонка, звонко, взхлеб, до слез. И все взмахивала руками, словно желала оттолкнуть от себя голос Марфы, который озвучивал здесь, в далеком Ярске, давнюю и веселую страницу ее прошлой жизни, когда она была молода, красива, когда артистку Громскую знала вся театральная Москва, а расположения ее сердца добились даже такие мужчины, как сказочно богатый миллионер Шубинский.

Давно это было. И многое позабылось. Но выпали нечаянно старые газетные вырезки, и вспомнилось...

Посмеиваясь, Марфа собрала бумаги, уложила их на прежнее место, потянулась выше, чтобы достать часы, но Магдалина Венедиктовна ее остановила:

– Ладно, Марфуша, пусть там лежат. Время на любых часах течет, хоть на громких, хоть на тихих... Все равно не остановишь! Иди, чай будем допивать.

Они продолжили чаевничать, и Магдалина Венедиктовна много еще о чем вспоминала в этот вечер, а Марфа, необычно притихшая, слушала ее, но невнимательно – она о своем думала.

И тоже перебирала в памяти прошлое, не такое уж давнее...

## 16

«Маменька родименька, возьми отсюдова, страшно мне здесь, боязно! – истово просила Марфуша; натягивала на худые исцарапанные коленки подол застиранного платишка и даже не замечала, что он стал мокрым от ее обильных слез. – Дома я бы в постельке лежала, ты бы меня по голове гладила... Домой хочу!»

Сидела она, сгорбившись, на земле, опустив голову, и больше всего почему-то боялась огромного костра, полыхавшего в чистом поле посреди темной ночи. Жарко, буйно горел костер, взметывал высокое пламя прямо в небо, густо стрелял во все стороны искрами и они казались в постоянно меняющемся свете такими же яркими, как звезды, только гасли очень быстро. Падали в траву и сразу терялись, будто проваливались под землю.

Пугающе одиноко было среди чужих людей, которые говорили между собой громкими голосами на непонятном языке. Лица их в костровых отблесках казались то красными, то черными и мелькали так быстро, словно картинки на картах, которые Марфуша видела днем в руках у цыганки. Вроде бы она и руками не шевелила, а карты разлетались, слетались, мелькали, как живые, и это был единственный момент за три дня, когда не тосковалось о доме. Но Зара, так звали цыганку, быстро смахнула карты в колоду, сунула ее в складки бесчисленных юбок, хлопнула в ладоши и сказала:

– Я гадать тебя научу! Лучше, чем сама умею!

Она хотела что-то еще сказать, но сердитый бородатый мужик в красной рубахе грозно крикнул на непонятном языке, и Зара побежала к нему так быстро, что легкие юбки взвихрились, будто подул ветер.

Все три дня, проведенные в цыганском таборе, сплелись для Марфуши в один – длинный-длинный, как пыльная дорога, по которой ехали, и пока ехали, переднее колесо кибитки скрипело не умолкая. Под этот скрип, устав плакать, Марфуша иногда задремывала, но кибитку встряхивало на очередном ухабе, и она просыпалась. Сейчас, сидя возле костра, она молча звала мать, но отзыва ей не было. Совсем иной голос окликнул:

– Вставай, пойдем.

Жесткая, тяжелая рука легла на худенькое плечо. Марфуша вскинулась, глянула снизу вверх – стоял перед ней бородатый мужик в красной рубахе, а за ним, выглядывая из-за спины, маячила Зара. Не снимая ладони с плеча, мужик подвел Марфушу к кибитке, которая стояла ближе других к костру, и ушел, не сказав больше ни слова.

– Не бойся, – Зара склонилась над ней, монисто негромко звякнуло. – Не бойся, мы с тобой сейчас наряжаться будем...

Легко разогнулась, залезла в кибитку и вытащила оттуда большой узел. Быстрые, проворные руки стащили с Марфуши старенькое платьице, надели на нее одну юбку, другую, третью, и скоро она оказалась в чужой и непривычной одежде, а к маленькому крестик, висевшему на шее, добавилось монисто, которое забавно звенело. Зара обошла кругом, любуясь своей работой, цокнула языком и хлопнула в ладоши:

– И песням нашим научу тебя, залезай в кибитку!

В кибитке она уложила Марфушу рядом с собой, закинула руки за голову и запела. Голос у нее был сильный, завораживающий и пугающий, словно пламя большого костра, но – странное дело! – слушать его хотелось еще и еще. Марфуша слушала и не заметила даже, когда

уснула. А утром, пробудившись, с удивлением поняла, что песню, услышанную вчера, она сейчас может спеть сама, даже не понимая чужих слов, которые прочно вошли в память.

И она запела.

А затем, как и обещала, Зара научила ее гадать на картах, научила плясать и еще научила многим другим песням – Марфуша ничем не отличалась от своих цыганских ровесниц, разве что цветом волос да маленькими веснушками на носу. В новой наступившей для нее жизни забывался родной дом в деревне Подволошной, все реже вспоминалась мать, а самым близким человеком становилась Зара. С ней было не страшно, а даже весело: ходить по дворам, петь и плясать на ярмарках, гадать на картах доверчивым бабам, обманывать их, а при случае, когда выпадал ловкий момент, и воровать все, что плохо лежит.

Способной ученицей оказалась Марфуша. Бойкая, веселая, с дивным звенящим голосом и стремительной, летящей походкой, она катилась вместе с шумным и пестрым табором по бесконечной дороге – только монисто позвякивало.

И не было ей времени и причины, чтобы задуматься: а для чего, собственно, украли ее цыгане и увезли далеко от родного дома?

Задуматься пришлось, когда появился в таборе богатый барин в белой фуражке. Встречали его пышно, как дорогого гостя, подносили на серебряном подносе хрустальную рюмку с водкой, голосили в честь него здравицы, усаживали на ковры под цветастым пологом, а после привели Марфушу и заставили ее петь и плясать. Она плясала, пела, веселила гостя, но увидела случайным взглядом Зару и поразились: бойкая цыганка, которой, кажется, и сам черт не страшен был, стояла поникшей и печальной, словно придавило ее невиданное горе.

Вечером выяснилась причина, когда рассказала Зара, что хотят Марфушу продать этому барину и о цене уже договорились. Большую цену просили цыгане, но барин за ценой не постоял и согласился. Вот тогда и задумалась Марфуша, поняла, для какой надобности ее украли. И взбунтовалась – не желаю! Будто повзрослела в один момент на добрый десяток лет. В горячке даже собралась бежать, но Зара ее остановила: никуда не убежишь, догонят и свяжут, в ковер закатают и отвезут, куда барин прикажет. Хитрее надо сделать, изворотливей... Как? А вот так!

Табор стоял недалеко от речки. Ночью тайком Марфуша с Зарой вышли на берег этой речки и Марфуша, раздевшись, кучкой сложила на траву свою одежду. Зара крепко обняла ее, сунула в руки узелок и подтолкнула к воде. Вздывая этот узелок над головой, Марфуша переплыла на другой берег, оделась и побежала в темноту, не чуя под собой ног.

Поверили цыгане, что она утопилась, или не поверили – неизвестно. Ударились в погоню или нет – тоже неведомо. Беглянка бежала, сама не зная куда, и чем дальше убегала от того места, где стоял табор, тем страшнее и неуютней ей становилось. Не цыган она уже теперь боялась, а неизвестности – куда теперь голову приклонить, как дальше жить, чем кормиться?

Но горевала и отчаивалась недолго. Вспомнила уроки Зары и начала петь и плясать, зарабатывая себе на пропитание. А еще рассказывала доверчивым бабам про цыган, которые ее украли и чуть было не продали богатому барину. Так складно, так жалостливо рассказывала, что нашелся добрый человек и помог добраться до деревни Подволошной. Там она огляделась, потешила сердобольных жительниц, своих землячек, звонким и трогательным голоском, затем ловко их обворовала и отправилась напрямик в далекий губернский город Ярск. Почему-то верилось ей, что сможет она там разыскать свою мать.

Город – не деревня. Здесь жалостливыми байками о злых цыганах мало кого растрогаешь, а уж петь-плясать, чтобы копейку подали – от таких желающих отбою нет. Хорошо, что на первых порах выручило барахлишко, прихваченное в Подволошной: продавала его потихоньку и на кусок хлеба хватало. Ночевала на постоялом дворе, точнее сказать, не на самом дворе, а в конюшне, залезала в ясли на пахучее сено, окуналась, как в омут, в короткий, глубокий сон, и кони никогда ее не тревожили, видно, понимали, что нет у девчушки крыши над головой

и надо бездомной где-то лечь и поспать. Благо что время стояло летнее и обходиться можно было без теплой одежды.

Спрашивала у людей о матери, не слышал ли кто из них такую фамилию – Шаньгина? Но в ответ ей только плечами пожимали – нет, не слышали.

А лето между тем катилось, катилось да и прикатило в осень. Зашлепали дожди, грязь зачавкала, по утрам заморозки захрустели, и стало яснее ясного, что всю долгую зиму в конюшне не проживешь. Марфуша продала золотое колечко, сворованное в Подволошной, деньги понадежней в юбку зашила и ушла из Ярска – наугад. Сама не ведала, куда идет. Подчинялась надежде, которая никогда в ней не угасала: чего раньше времени горевать, вот наступит следующий день, счастливый, и тогда обязательно повезет.

Так и случилось. Хозяину придорожного трактира работница потребовалась: полы мыть, помои выливать, печи топить, кухарке помогать, с маленьким ребенком возиться – целый день надо было крутиться, как игрушечной юле. Марфуша крутилась и везде успевала. Еще и песни пела, веселя проезжающих, которые щедро давали на чай. Может быть, и прижилась бы она у хозяина придорожного трактира, может быть, и въехала бы судьба в надежную и прямую колею, но не случилось...

Стала она со временем ловить на себе взгляды хозяина, странные такие, будто он приценивался, будто лошадь на базаре выбирал, только что в рот не заглядывал, проверяя зубы – не порченые ли?

За время своих скитаний Марфуша всякого нагладелась и наслушалась, многое знала из того, что юной девчужке и знать бы не полагалось, но глаза ведь не закроешь и уши не заткнешь. Желаеть или не желаеть, а грязная изнанка жизни являлась перед ней во всей своей неприглядности. Поэтому и не было в хозяйских взглядах для нее никакого секрета. Сразу догадалась, что они означают.

И в догадках своих не ошиблась.

По весне хозяин отправил жену вместе с ребенком к родственникам в город, дождался ночи и вломился в маленькую комнатку, где спала Марфуша. Видимо, сонную хотел взять, да не тут-то было – полотно острой литовки, давно припасенное и лежавшее в изголовье под накидкой, мигом оказалось у нее в руках. А когда хозяин кинулся его отбирать, Марфуша, не раздумывая, располосовала ему щеку – от виска до подбородка. Страшный, с лицом, залитым кровью, хозяин вслепую метался по комнатке, истошно орал, будто недорезанный бык, и ей лишь чудом удалось вырваться на улицу. В одной исподней рубахе выскочила. И долго бежала, сама не понимая, куда бежит, только бы подальше от придорожного трактира и от его хозяина.

Очнулась и в себя пришла, когда почувствовала, что трясется всем телом и даже зубы постукивают от холода. Ночи, хотя и весна наступила, стояли еще холодные, особенно под утро. А может быть, еще и от страха ее колотило. Огляделась вокруг, увидела: большое озеро перед ней, накрытое легким туманом, позади – поле, а направо, едва различимая в рассветной сини, угадывается извилистая дорога. К этой дороге она и направилась, а дальше, повернув на восточную сторону, где уже занималась заря, пошла по узкой колее, накатанной тележными колесами, надеясь – куда-нибудь да выведет...

Вывела ее извилистая полевая дорога к маленькой деревушке, в которой было дворов десять, не больше. Стояли избы по берегу речушки, над которой тоже клубился туман, и показалось сначала, что избы плывут по этому туману. Марфуша протерла глаза, передернулась от холода, сжала зубы, чтобы они не стучали, и решительно направилась к крайней избе.

Дверь ей открыла старуха. Страшная, как Баба Яга из сказки. Окинула цепким взглядом и, не дослушав сбивчивый рассказ, отозвалась протяжным, скрипучим голосом, будто несмазанное тележное колесо провернула:

– Проходи, ласы после точить будешь...

Скоро Марфуша уже сидела за столом, обряженная в старый сарафан, укутанная теплой шалью, пила чай из большой глиняной кружки и украдкой оглядывалась, пытаясь понять – куда ее в этот раз занесло?

Изба была маленькой, тесной, едва ли не половину занимала печка с настеленными над ней полатами, а на свободном пространстве, вдоль стен, стояли деревянные кадушки, закрытые толстыми досками. Кадушек было много, они стояли плотно друг к другу, и совершенно непонятно было – что же в них хранится? Ясное дело – не солонина. Иначе бы запах стоял – не продохнуть. В избе же вкусно пахло свежим хлебом, который созревал в печи, и никаких иных запахов не чувствовалось.

– Я глину в них храню, – словно угадав мысли Марфуши, а может, заметив ее взгляд, проскрипела старуха. – Кринки да чашки мастерю, тем и кормлюсь. Да вот беда – стариться стала, не под силу мне одной управляться, помощница нужна. Будешь помогать?

Марфуша с готовностью кивнула:

– Буду.

– Не спрашиваю, как ты в одной рубашонке посреди ночи осталась, вижу, что не по своей воле. Если захочешь, после расскажешь. А теперь полезай на печку, грейся...

И наступила у Марфуши новая полоса жизни: стала она осваивать гончарное ремесло. Оказалось, что в избенке, в которую постучалась в отчаянии бесприютная беглянка, жил раньше деревенский кустарь со своей женой, делал нехитрую деревенскую посуду, и на жизнь им с супругой вполне хватало, потому как были они бездетными и по лавкам, требуя кормежки, никто у них не сидел. Но четыре года назад кустарь захворал, помаялся недолго от нутряной болезни и тихо преставился. Супруга его, Августа Гавриловна, оставшись одна, принялась сама хозяйничать в сарае, где стоял гончарный круг и печь для обжига. Поначалу, в первые два года, управлялась в одиночку, но дальше дело стало спотыкаться. Глина – не лебединый пух, она тяжеленная, как железо. Пока накопишь, пока привезешь, пока намесишь – спина отваливается. Вот по причине больной спины и покатилося у Гавриловны все дело под гору – бывало, что по неделям пластом лежала, какая уж тут глина, какие кринки-чашки, хоть бы на ноги подняться, да саму себя обиходить...

С появлением Марфуши в маленьком хозяйстве Гавриловны все переменялось. Старуха только головой качала, глядя, как проворно крутится девка, схватывая на бегу гончарные секреты, и как она везде успевает, да еще и песнями старуху радует. Так звонко голосит, будто целыми днями, бездельничая, у окошка сидела, вот и поет от скуки.

Год с лишним, мирно и дружно, прожили Марфуша и Гавриловна, которая, издалека, уже начинала намекать, что не хватает в хозяйстве мужичьих рук и что пора бы ей залезать на печку и греть старые кости, а к гончарному кругу и вовсе не подходить. Марфуша намеки эти пропускала мимо ушей, притворяясь, что не понимает их смысла, или отшучивалась, как могла, переводя разговор на другую тропинку – даже мысли у нее не было о замужестве. Чувствовала она, будто угадывая будущую судьбу, что проживает здесь временно, вот дунет неожиданный ветерок, поднимет ее, как пушинку, и понесет дальше...

Так и произошло. Только не ветер дунул, а огонь полыхнул.

Поздней осенью, еще до снега, Марфуша таскала на тележке глину. Дни стояли сухие, вот и торопилась сделать запас на зиму, пока не расквасились затяжные дожди. Поднялась из низины, где глину копали, и обомлела: из окон избы Гавриловны, весело загибаясь к крыше, вылетали большущие языки пламени. Пока Марфуша, бросив тележку, добежала, занялась и крыша, хилый навес над крыльцом обвалился, и стеной встал сплошной огонь – не подступиться. Разве что сгореть живьем...

Соседи, прибежавшие с ведрами, баграми и лопатами, стояли в растерянности и смотрели, как огонь дожирает старые бревна. Уцелел только сарай с гончарным кругом. Отчего

занялась изба, осталось доподлинно неизвестным, вернее всего, как говорили знающие мужики, пламя выскочило из прохудившейся трубы, поэтому и пожар был таким скоротечным.

Все, что осталось от Гавриловны, удалось найти на печке, с которой бедняга даже не успела спуститься, когда начался мгновенный пожар.

Останки Гавриловны еще не успели закопать на кладбище, как нагрянули из дальней деревни какие-то люди, объявившие себя родственниками покойной, и предъявили свои права на уцелевший сарай с гончарным кругом. Грозно поглядывали на Марфушу, видимо, ожидали, что она не уступит. Но Марфуша уступила. Не сказала ни слова и ушла, как была в скудной одежонке, прихватив из сарая лишь старые валенки.

На этот раз судьба привела ее к лавочнику Мирошникову. И там она, назвавшись чужим именем и сочинив очередную историю своей судьбы, прижилась поначалу, пришлась, как говорится, ко двору и даже надеялась, что задержится здесь надолго.

Но добрые дни порадовали лишь малое время и закончились скоро. Заметила Марфуша, что и этот хозяин, Мирошников, стал поглядывать на нее долгим взглядом, суть которого она уже хорошо знала. Поэтому и не стала дожидаться, когда Мирошников к ней подступится и придется отбиваться и бежать в одной исподней рубахе. Теперь она придумала опередить события. Выследила, куда хозяин прячет деньги, вырученные от торговли в лавке, и где ключ хранится, дождалась удобного момента и умыкнула разом все деньги, до единой копейки.

Ночью, когда все спали, собралась, подпоясалась и пешком дунула до ближайшего постоялого двора, но там, как назло, не оказалось ни одной попутной подводы. Поэтому Марфуша задержалась, а когда подвода появилась и когда удалось договориться с возницей, увидела она, уже усевшись в сани, что подъехал урядник, и сразу поняла – по чью душу он сюда прибыл. Бежать – некуда, да и бесполезно. И тут Марфушу осенило. Пока урядник оглядывался, она успела тайком сунуть вознице все деньги, украденные у Мирошникова, и попросила лишь об одном – чтобы доехал он до лавочника и передал тому нужные слова.

Слова эти были простыми и ясными: если Мирошников из арестантской ее не выручит, тогда она, Марфуша, с чистой совестью поведает казенным чинам про тайную пимокатню лавочника, где работают на него двое беспаспортных мужиков, по всей видимости, беглых. Был такой грех за Мирошниковым, содержал он тайную пимокатню.

Когда Жигин подошел к саням, в которых Марфуша сидела, она уже все спроворила: и деньги отдала вознице, и привет отправила лавочнику Мирошникову, а урядника встретила такой ласковой и радостной улыбкой, словно увидела перед собой дорогого родственника после долгой разлуки.

Дальше все произошло так, как она задумала. Утром Мирошников примчался к Жигину и заявил, что никакого воровства не было. Марфушу отпустили на волю, и она веселым и скорым шагом выскользнула из Елбани, как из капкана, который так и не захлопнулся.

Шла по пустой дороге, навстречу поднявшемуся солнцу, без единой копейки, без куска хлеба в котомке, без ясной цели – совершенно не зная, куда идет, где прислонит голову, когда наступит ночь, шла и улыбалась, прищуриваясь от яркого света, который лился ей прямо в глаза...

И думать не думала, что ее впереди ждет.

## 17

Проснулся Жигин внезапно, будто его в бок толкнули. Вскинулся на пышной пуховой постели, опустил ноги на пол, на половичок, и чутко прислушался. Тихо было в горнице, за окном стояла темная, без просвета, ночь, и лишь глухо, едва различимо, доносился стук деревянной колотушки приискового сторожа, который бодро нес свою службу возле складов, где хранились съестные припасы.

Вот и колотушка смолкла. Звнящая, установилась тишина. А Жигин все сидел, сгорбившись, и прислушивался. Никак не мог понять – по какой причине он проснулся от неясной тревоги? И, вглядываясь в темноту, в узкой щели между занавесками, висевшими на входе в горницу, различил мутное белое пятно. Оно не шевелилось, маячило, словно застывшее. Жигин осторожно дотянулся до табуретки, стоявшей в изголовье, вытащил из кобуры револьвер, и хотя проделать это пытался бесшумно, постель под ним все-таки скрипнула. Мутное пятно шевельнулось и двинулось вперед, распахнув занавески.

«Тьфу ты, скоро тени от плетня пугаться буду!» – Жигин сунул револьвер под подушку, потому что скорее догадался, чем разглядел в темноте, что в горницу вошла Катерина, белея исподней рубахой.

Он не ошибся. Хозяйка остановилась перед ним и огорошила тихим голосом:

– Уходить тебе надо, Илья Григорьевич... Чем скорей уйдешь, тем целее будешь.

– А что такого случилось, что мне посреди ночи убежать требуется? Полюбовник явится? – так же тихо, как и хозяйка, спросил Жигин.

Катерина вздохнула и, будто не услышав вопроса, прежним голосом продолжила:

– Как за полисадник выйдешь, направо тропинка, она избу мою огибает и на огород идет, а там сарайчик на задах стоит. Пережди в нем до утра, тебе же лучше будет...

Жигин молчал, не зная что предпринять. Не доверял он хозяйке. А вдруг она для того и посылает в этот сарай, потому что именно в нем устроена ловушка? С другой стороны, может, ловушка и была изначально задумана, еще тогда, когда приезжала к нему Марфа Шаньгина? Черт ногу сломит!

– А кого мне бояться? Я представитель власти, пусть меня бояться. Скажи – кто такой смелый, кто пожаловать должен?

– Кто пожалует, тот никакой власти не боится. И ничего я тебе больше не скажу, мне еще на белый свет любоваться не надоело. Сам решай.

Катерина повернулась и неслышно скрылась за занавесками, а Жигин продолжал сидеть на постели и все прислушивался, ожидая различить за стенами скрип снега или другие звуки, которые известили бы об опасности. Но тихо было и в доме, и за его стенами. Все-таки он решился. Встал, быстро оделся и вышел на крыльцо, ничего больше не спросив у хозяйки и не сказав ей ни слова; понимал, что правдивого ответа все равно не услышит.

На крыльце замешкался. Темень стояла – хоть глаз коли. И где прикажете искать тропинку и сарай на задах огорода? Да еще и неизвестно, что там ожидает его в этом сарае... Жигин переступил с ноги на ногу, прислушиваясь, не скрипят ли доски; звуков не различил и, повернувшись, на цыпочках, на ощупь, остерегаясь, чтобы ничего не опрокинуть, вернулся в сени. Нашарил деревянную вертушку и открыл дверь в кладовку, вошел в тесное пространство, где властвовал, несмотря на мороз, густой, устоявшийся запах. Чиркнул спичку, быстро огляделся и, увидев невысокую кадучку, закрытую досками, присел на нее. Спичка, догорая, обожгла пальцы и вокруг снова сомкнулась темнота.

Он сидел, чутко прислушивался, ждал.

И дождался.

Скрипнули на мерзлом снегу сани, тяжелые шаги быстро простучали по крыльцу, через щели в досках мелькнули отблески пламени, и дверь в избу настежь распахнулась, ударившись о стену. Никто дверь не закрыл, и Жигин хорошо расслышал, как властный мужской голос коротко спросил:

– Где он?

В ответ зазвучал спокойный голос Катерины:

– Собрался молчком и ушел, а куда – не знаю...

– Давно ушел?

– Да вот, перед вами...



– Ты что ему говорила?

– Ничего. Накормила, постель постелила, он спать лег... А незадолго до вас поднялся, оделся, я только и услышала, что дверь стукнула.

– Где теперь его искать?

– Да откуда ж я знаю!

– Смотри, Катерина, если ты ему шепнула про нас – худо тебе будет!

Ответа на эту угрозу не последовало – Катерина молчала. И ясно было, что молчит она по одной простой причине: с людьми, которые так по-хозяйски явились к ней посреди ночи, разговаривать следовало без лишних слов и уж тем более без лишних вопросов.

Послышались шаги, видимо, оглядывали горницу.

«Сейчас и кладовку проверят, – Жигин осторожно расстегнул кобуру и вытащил револьвер. – Ну, Земляничин, ну, кусок дерьма, ты на какой постой меня определил?! погоди, дай только утра дожждаться! всю душу выну!»

Снова застучали шаги, свет фонаря брызнул в щели кладовки, Жигин, не поднимаясь с кадушки, чтобы случайно чего-нибудь не опрокинуть, напрягся и положил палец на курок. Но свет фонаря, не задержавшись, соскользнул из сеней на улицу и там, на крыльце, фонарь погасили. Негромко хлопнули вожжи, скрипнули полозья саней, и все стихло. Установилась такая тишина, что Жигин, шевельнувшись, расслышал, как шуршит его шинель.

«Сколько их было? Если по шагам судить, не меньше трех-четырех... Наверняка кто-то на улице еще оставался, возле коней... Многовато! И все, выходит, по мою душу приезжали... Хорошо, что спрятаться успел, иначе пришлось бы тут пальбу открывать...»

Жигин не испытывал страха – служба научила не бояться. Но он всегда был разумно осторожен и никогда не бросался сломя голову в неизвестность. Именно по этой причине, не выходя из кладовки, дождался, когда в мутном окошке, врезанном в стену, тускло замаячит рассвет, и лишь тогда выбрался из своего укрытия. Первым делом оглядел следы у палисадника – саней, судя по полосам от полозьев, подъезжало двое. «Это что же, целое войско, выходит, подкатывало? – хмыкнул Жигин, – хорошо, что не высунулся...»

Он еще прошелся по дороге, в оба конца, но никого и ничего, кроме следов, в этот ранний час не увидел. В избах начинали теплиться неяркие огоньки. Затеplился такой огонек и в доме у Катерины, а над трубой, ровный в безветрии, встал столбик густого дыма. Жигин еще раз огляделся и направился к месту своего ночлега – пора было побеседовать с хозяйкой.

Катерина встретила его, как ни в чем не бывало, будто он только что с постели поднялся:

– Доброго утречка вам, Илья Григорьевич! Проходите, за стол садитесь, у меня и самовар вскипел.

Не раздеваясь, Жигин присел к столу, молча попил чаю и, отодвинув чашку, сказал:

– Ну, рассказывай, Катерина, кто в гости приезжал...

– А никто не приезжал! – живо откликнулась хозяйка, не оборачиваясь к гостю – она в это время, растопив печку, засовывала в нее, подцепив ухватом, большущий черный чугунок. Когда засунула, обернулась, оперлась на ухват и глянула на Жигина, поблескивая темными глазами. От пламени в печи на нее падали отсветы и в этих отсветах по-особенному ясно виделось, что Катерина – красавица. Статная, с покатыми плечами, с пышной грудью, выпирающей из кофточки, с гордо посаженной головой, она смотрелась по-царски, будто опиралась не на ухват, а на позолоченный посох.

– Ты прямо как королевщина на картинке, – усмехнулся Жигин. – Может, все-таки спустишься до меня, расскажешь, по какой причине тревога поднялась, что пришлось мне в кладовке скрываться? И по какой причине гости ночные грозились, что тебе худо будет?

Катерина продолжала стоять на прежнем месте, опираясь на ухват, молчала и только дышала глубже и чаще, отчего грудь колыхалась и туже натягивала кофточку. Показалось, что она сейчас закричит. Но нет. Ухват отставила в сторону, тихо спросила:

– Обедать-то придете, Илья Григорьевич? Или Земляницын с Савочкиным угощать будут?

– Про обед не знаю, а прийти – обязательно наведуся. И ты до моего прихода из дому никуда не отлучайся. А заодно подумай, чего мне отвечать станешь, когда я допрос по всей строгости учиню. Уразумела?

Не дождавшись ответа, Жигин поднялся из-за стола, погрозил Катерине пальцем и, надев шинель, запоясав ремень, поправив шашку на боку, вышел на улицу.

Было уже совсем светло. Прииск просыпался, наполнялся звуками: где-то лаяли собаки, слышались людские голоса, из кузницы долетали гулкие удары молота по наковальне. Жигин постоял, прислушиваясь, огляделся. Увидел узкую, почти заметенную тропинку, которая огибала палисадник и уходила в огород, на задах которого, действительно, стоял старый сарай, накрытый большущей шапкой снега. Жигин не поленился, прошел до сарая – ничьих следов там не маячило. Значит, и ловушки никакой не было. Выходит, не обманула Катерина и без всякого тайного умысла предупредила об опасности?

Выходит, так.

«Ладно, пойдем в другом месте полюбопытствуем, а сюда еще успеем вернуться, – Жигин выбрался с тропинки на дорогу и пошагал к конторе прииска, досадуя, что слишком все непонятно закручивается. – Ничего, помолясь, раскрутим...»

Он надеялся и ни минуты не сомневался в том, что своего обязательно добьется, иначе... Иначе как ему дальше без Василисы жить?

## 18

Первым, кого он встретил, подходя к конторе прииска, был Земляницын. Тот сдвинул на затылок лохматую казенную шапку, протянул крепкую руку, чтобы поздороваться, и удивился:

– А ты чего в такую рань поднялся? Неужели Катерина не приласкала? Баба она одинокая, а ты кавалер видный...

– Приласкала, приласкала, – отозвался Жигин, – добрая баба, жалостливая... Если бы не пожалела, я и не знаю, что бы со мной случилось...

Земляницын сразу насторожился, шапку опустил на лоб, и глаза у него прищурились – будто матерый зверь, почуявший опасность. Но спрашивать ни о чем не спрашивал, выжидая, что сообщит ему урядник. Жигин таиться не стал, да и не мастер он был вести вокруг да около витиеватые разговоры:

– Какие-то люди приезжали ночью, думаю, человек пять-шесть их было, посчитать не получилось... Приезжали по мою душу... Катерина предупредила, пришлось в потайном месте отсиживаться... Вот по этой причине и поднялся раным-ранешенько... Теперь пошли, Земляницын, разговоры разговаривать, не на улице же нам стоять...

– Пошли, – кивнул Земляницын и первым, не оборачиваясь, направился к конторе прииска. Ходил он, чуть наклонившись вперед, опустив голову, и шаг у него был тяжелый, будто он давил землю большими, крепкими ногами.

«Такой, пожалуй, и затоптать может, – невольно подумал Жигин, шагая вслед за ним, – остерегаться надо...»

Странное чувство испытывал в последние дни урядник: едва ли не от каждого встреченного им человека ожидал он подвоха, опасности и все чудилось ему, что за спиной кто-то стоит, и он едва сдерживал себя, чтобы не оглядываться.

С этим настороженным чувством он и вошел в маленькую комнату в конторе прииска, где Земляницын, не раздеваясь, сел на стул с резной спинкой и показал рукой Жигину на другой такой же стул, приглашая и его присесть. Жигин сел, поставил между ног шашку, словно собирался при первой опасности выдернуть ее из ножен. Земляницын усмехнулся:

– Ты, никак, воевать со мной собрался, Илья Григорыч?

– Да не хотелось бы воевать-то, – ответил уклончиво. – Лучше бы миром обойтись. Миром всегда лучше... Ты сам-то как думаешь?

– Миром, конечно, лучше, да только не всегда получается... Иной раз и рад бы не воевать, а в лоб тебе прилетело... Как не ответить?

– Говорим мы с тобой, Земляницын, будто два ужа ползаем, извиваемся, и ног не отыскать. Давай напрямки – знаешь, какие люди ночью к Катерине приходили? И зачем я им понадобился? Они ведь за мной приходили! И почему грозились Катерине, что, если она слово скажет, худо ей будет? Когда они узнали, что я приехал и что у Катерины остановился? Я ведь ни с кем вчера не разговаривал, кроме как с Савочкиным и с тобой... Что скажешь?

– погоди, не понужай, все скажу... Ты, главное, сделай вид, что ничего мне не рассказывал про ночных гостей. Как будто не доверяешься мне. Ты ведь и взаправду не доверяешься... Так?

Жигин промолчал. Слушал Земляницына, чуть наклонив голову и не глядя тому в лицо; смотрел на его крупные руки с растопыренными пальцами, лежавшие на коленях – не руки, а здоровенные грабли, если ухватит ими за глотку – не вырвешься. Не верил он Земляницыну, ни одному слову не верил. А тот, словно читая его мысли, продолжал:

– Ты ведь как думаешь? Думаешь, если мне Парфенов деньги платит, значит, я любое темное дело здесь покрою, если он прикажет. Да только не приказывал он мне темные дела покрывать, ни единого разу не приказывал, одного требует – чтобы порядок был... – Земляницын внезапно прервался, прислушался и заговорил громче: – Давай-ка, Илья Григорьевич, делом займемся, пойдем с твоего беглого допрос снимать, да казенную бумагу писать по начальству. Он уж, наверное, заскучал, твой каторжный. А после баню истопим и попаримся всласть. Давно не парился – аж кости чешутся, веничка просят!

Последние слова Земляницын договаривал, уже поднявшись со стула и направляясь к дверям. На ходу махнул рукой, давая Жигину знак – ступай за мной.

Жигин, ничего не понимая, удивленный до крайности, тоже поднялся и пошел следом.

В конце узкого коридорчика, в который выходила дверь комнаты, где они беседовали, высилась большая, круглая печь, обитая железом. Возле печи, на корточках, сидел невзрачный мужичок и обдирал кору с березовых поленьев. Обернулся на скрип открывшейся двери и закивал головой, быстро и часто, будто она сидела у него на тряпичной шее.

– Раненько ты нынче топить начал, Тимофей, печка с вечера еще не остыла, жара будет, не продохнуть, – мимоходом сказал ему Земляницын и пошел по узкому коридорчику, не оглядываясь; грузно топтал пол тяжелыми ногами и половицы под ним жалобно попискивали.

– Жар костей не ломит! – весело отозвался мужичок Тимофей, и слышно было, как он чиркнул спичку, разжигая разорванную на ленточки бересту.

Жигин уже не удивлялся внезапной перемене, произошедшей с Земляницыным, понял, что тот опасается, чтобы их не подслушали.

Они обогнули контору и с глухой, подветренной стороны остановились возле входа в подвал. Земляницын, пошарив в карманах, вытащил ключ и отомкнул большой амбарный замок, поднатужился и оттащил с глухим скрипом тяжелую заиндевелую дверь; из проема пахнуло теплом, и донеслась громкая, бодрая несущаяся Комлева:

– Кура-вара, буса корова, григи-кики петухи, вчера яиц нанесли! Крули-марули, бедны забирали, тренкнул балалайкой, ножкой танцевал, оглянулся сзади, нос отпал! Привет-салфет вашей милости!

И раскланялся беглый перед вошедшими, даже простреленный трюх почтительно с головы сдернул. По сравнению с тем, каким он смотрелся вчера, даже после того, как у костра оттаял, сегодня Комлев был, словно первый, только что вызревший, молодой огурец – лишь зеленого цвета да пупырышек не хватало. Притопывал, приплясывал, будто ему пятки поджа-

ривали, и весело скалился узким, вытянутым лицом, показывая редкие, но крупные, будто у коня, зубы.

– Какой он веселый у тебя, – Земляничин фыркнул по-кошачьи и, продолжая разглядывать приплясывающего перед ним Комлева, насмешливо спросил: – А скажи нам, сердешный, за какие грехи угодил на каторгу? Наверняка не одну душу загубил?

– Не-не-не, – заторопился Комлев и даже руками замахал, будто шел по жердочке и вдруг зашатался, не удержав равновесия. – Ни одной жизни не загубил, ручки у меня чистые и греха смертоубийства на душе не имею! Я невинно пострадал, господа хорошие! Желаете знать, как получилось? Истинно расскажу!

– Рассказывай, – разрешил Жигин и присел на березовую чурку, стоявшую возле низкого топчана, доски которого были застелены рванными тряпками. Он хорошо понимал, о чем попросил Земляничин – побыть здесь какое-то время, будто они допрос с Комлева снимают, а уж после, в уединенном месте, можно будет и разговаривать откровенно.

– Я же из приличной семьи происхожу, папенька мой – торговец известный в городе Ельце, даже собственный выезд имел, а маменька у меня очень набожная и каждое лето в Сергиеву лавру ходила молиться. Да-да, собственный выезд имелся, а она пешочком, котомочку приладит за плечики, посох в руки возьмет, и пошла, и пошла... – Комлев остановился, поднял глаза к потолку и поморгал, будто бы у него слезы выкатились; поморгал и продолжил: – И вот, значит, подрастал я в добропорядочной семье и дорос до двадцатилетнего возраста, в гимназии обучался, папеньке в торговых делах помогал, послушным был, как полагается хорошему сыну. Но тут случилось большое событие – решили меня родители женить, потому как спать я стал беспокойно и непонятная тоска у меня объявилась. Встану, бывало, с постели посреди ночи и смотрю в окно, смотрю, смотрю... А для чего это делаю, сам себе объяснить не могу! Не могу – хоть плачь! Вот родители и обеспокоились, видя, что творится со мной неладное. Призвали расторопную сваху, и начала она мне невесту подыскивать, да только кого ни найдет, все маменьке не нравятся: одна толста, друга худая, третья грязнуля, а четвертая слишком уж норовистая... В конце концов отыскалась единственная – дочь купца Калабухина. Всем хороша была Степанида Федоровна: и обличем, и характером, и красотой, а уж как она маменьке поглянулась – словами не описать...

Рассказывая, Комлев не переставал перебирать ногами и говорил так складно, будто читал по написанному; Жигин и Земляничин невольно заслушались, даже позабыли на короткий срок, зачем они в подвал пришли. А Комлев, видя, что его слушают, взмахивал руками, будто крыльями, и воспарял все выше:

– Наступил день, и поехали мы свататься, на собственном выезде к Калабухиным приехали, под колокольцы... Да... Я и сейчас тот день помню... Покров, только-только снежок выпал, искрит... Едем, а меня телесное томление одолевает... Понял я причину, по которой ночами в окно смотрел без всякого смысла. А уж как Степанида Федоровна выплыла, чтобы во всей красе показаться, тут у меня в голове так зашумело, будто я об стену ударился, будто всякой памяти лишился – ничего не помню. Ну, дальше дело известное – договорились полюбовно, по рукам ударили, свадьбу сыграли, жить начали. Душа в душу со Степанидой Федоровной живем, я по ночам в окно перестал смотреть, да и некогда смотреть, когда телесному удовольствию предаешься. Уж до того оно мне понравилось, что я во всякую удобную минутку обнимаю Степаниду Федоровну, целую и ласкаюсь к ней. Прилепился, будто приклеился, никакой силой не оторвать. Да только недолго нам миловаться довелось. Стал я замечать, что супруга моя драгоценная, Степанида Федоровна, грусти начала предаваться, невеселая ходит и на ласки мои с неохотой отзывается, а то и вовсе отпихивает. Я к ней с расспросами, а она молчит. Очень уж сильно меня это обстоятельство огорчило, стал я по ночам снова в окно смотреть. Смотрю и смотрю... А Степанида Федоровна почивать изволит, так сладко посапывает, будто меня и вовсе на свете нет. А после объявляет – веселья, говорит, желаю. Какого

такого веселья? Давай я на базар ее вывозить, на карусели, матушка в лавру с собой звала, да только Степанида Федоровна отказалась. Матушка одна ушла. А тут на нас с папенькой торговые дела навалились в большом количестве, срочно надо за товаром ехать, ему в одну сторону, мне – в другую. Папенька еще говорил мне, чтобы я молодую жену не оставлял в одиночестве, может, говорит, подождешь, когда я вернусь. Да как же, отвечаю, подождать, если у нас в лавках полки скоро пустые будут. Поехал. Все дела за неделю сделал, товар доставил, домой возвращаюсь, желаю всей душой Степаниду Федоровну увидеть, потому как соскучился. Ну, и увидел... Лучше бы не видеть! Захожу в родительский дом, а там – пыль до потолка и дым коромыслом! Степанида Федоровна веселиться изволят. Мужские личности за столом сидят, числом четверо, все пьяные, и одна женская особа – супруга моя. Тоже пьяненькая. На двух гитарах играют, с переборами, а она пляшет в непотребном виде, в одной юбке, а выше юбки ничегошеньки нет, никакой тряпочки. Увидела меня Степанида Федоровна и хоть бы смутилась для вида! Пляшет, как ни в чем не бывало, еще и прикрикивает: вот я какого веселья желаю, чтобы голова кружилась! А ты, говорит, супруг мой, садись с гостями моими и кушай-пей с дороги. Это в нашем-то доме, под иконами, маменькой намоленными! Не стерпела душа моя, развернулся я и прочь из дома, да еще и дверью в сердцах стукнул. А на двери у нас, снаружи, защелка железная имелась, она, видно, и упала, ударил-то я сильно. Получилось, что все, кто в доме веселился, запертыми оказались. А еще у нас на входе, на стене, лампадка висела, стена-то, видно, тоже дрогнула, когда я дверью ударил, ну, лампадка и упала... А окна снаружи ставнями закрыты были, чтобы, значит, никто веселья не видел. Ушел я, сам себя не помня, куда подальше, прилег под березку и плакать стал от случившегося несчастья и от позора. А дом наш родительский загорелся в это время, от лампадки, которая упала, и сгорел до основания, и все, кто в нем веселились, тоже сгорели. Одна супруга моя, Степанида Федоровна, уцелела, хотя и личиком от огня попортилась. Знала она, что в дальней комнате маленькое окошко имелось, которое ставнями не закрывалось, вот через него и спаслась. И показала она на меня, что я дом закрыл и поджог устроил и что по моей вине четверо человек заживо в огне спалились... Поставили меня перед судом суровым, и суд сказал мне – привет-салфет вашей милости! Пошел я по этапу, а супруга моя, Степанида Федоровна, даже проводить не соизволила. Вот и вся моя история...

Комлев перестал приплясывать и размахивать руками, замер, закончив рассказывать, и поднял глаза к потолку, снова заморгал часто-часто, будто переживал, когда слезы остановятся. Долго так стоял, скорбно сложив на груди руки, и будто не слышал, как хохочут Жигин и Земляничин. Нахохотавшись вдоволь, Жигин спросил:

- Как же ты через двери, если они закрылись, увидел, что именно лампадка упала?
- Дар у меня такой, – отвечал Комлев, – глаза закрою и все, что мне надо – вижу.
- А теперь чего видишь?

Комлев перестал моргать, закрыл глаза и доложил:

- Чугун хороший, большой чугун, а в нем каша с мясом... Горячая!

– Ладно, будет тебе каша, – пообещал Земляничин, – не знаю, с мясом или без мяса, но каша будет, скажу, чтобы накормили. Пойдем, Илья Григорьевич, нам этого говоруна, если он разоидется, похоже, за неделю не переслушать. Врет, как по воде ходит, но складно – я прямо заслушался. Пошли...

Вернулись в контору прииска, там Земляничин отдавал какие-то распоряжения, мужичка Тимофея послал топить баню и еще велел ему, чтобы по дороге он забежал к Катерине и предупредил, что обедать придут к ней. Жигин молча ходил следом за ним, ни о чем не спрашивал, терпеливо ждал – когда они в конце концов закончат начатый разговор?

– Подожди, – словно догадавшись, о чем он думает, коротко успокоил Земляничин, – надо так – круги нарезать...

Ну, раз надо, значит, надо, кивнул Жигин, будем круги нарезать.

Из конторы прииска они вышли ближе к обеду.

Шли один за другим по натопанной в снегу тропинке, направляясь к приземистой бане, которая приютилась на берегу Черной речки, и Земляницын, не оборачиваясь, задышавшим от быстрого хода голосом приговаривал:

– Ты еще чуток потерпи, в бане, как на полоч залезем, я тебе все поведаю...

Когда вошли в предбанник, он крепко прихлопнул за собой дверь, закрыл ее на толстый самокованный крючок и, раздевшись, первым шустро нырнул в жаркое нутро бани. Они долго парились, мылись, плескали на каменку воду, которая мгновенно превращалась в жгучий пар, кряхтели, ахали, и Земляницын успевал негромко говорить, и чем дальше он говорил, тем все больше и больше удивлялся Жигин тому, что слышал.

## 19

А рассказывал Земляницын следующее...

В начале осени, когда горячий приисковый сезон стал сворачиваться, нагрянул с ревизией хозяин – Павел Лаврентьевич Парфенов. Хмурый был, недовольный, и долго о чем-то разговаривал с Савочкиным, строжил на своего управляющего, и даже слышалось через закрытые двери в кабинете, что он кричал на него и стучал кулаком по столу.

Земляницын, как и положено, стоял в коридоре. Вдруг надобность возникнет, вдруг хозяин пожелает что-то спросить у него или дать указание. Но в кабинет его не позвали, не понадобился, и лишь после, когда разговор с Савочкиным закончился, хозяин, проходя мимо, остановился и спросил – как дела? Земляницын доложил: безобразий и происшествий нет, воровства не наблюдается, спиртоносы<sup>11</sup>, правда, наведываются, но их, как тараканов, под корень никогда не выведешь... А в остальном – порядок.

– Ну и славно, – отозвался на короткий земляницынский доклад Павел Лаврентьевич, – служи дальше, братец, за мной благодарность не пропадет.

Похлопал по плечу, даже улыбнулся, и пошел дальше.

А вечером сам нашел Земляницына, который безотлучно находился в своей комнатке в конторе, усадил перед собой и приказал: с управляющего прииском, горного инженера Савочкина, глаз не спускать. Куда ездит, какие указания отдает, с кем встречается и о чем говорит – все должно быть известно и доложено ему, Павлу Лаврентьевичу, когда он в следующий раз приедет на прииск.

Приказ хозяина Земляницын принял к исполнению и стал приглядывать за Савочкиным, но ничего странного в его поведении не замечал. Все шло-тянулось по старому, как и раньше, без новостей и без происшествий.

Нарушилось же спокойное течение одинаковых будней по зиме, когда уже выпал обильный снег.

На этом снегу, по лыжному следу, Земляницын выследил спиртоноса, за которым уже давно охотился, но никак не мог поймать. Взял тепленьким, у костра, тот даже пикнуть не успел. Сидел, оглушенный по голове, со связанными руками, и хлопал маленькими глазками, пытаясь понять – что с ним за короткую минуту случилось? А Земляницын между тем, времени не теряя, уже тянул к себе два кожаных мешка, в которых спиртоносы обычно носили спирт. Шили их, как правило, из прочной, чистой кожи, шили крепко, надежно и соединяли между собой широким, тоже кожаным, ремнем. Очень удобно получалось: перекинул через плечо, один мешок спереди, другой – за спиной, и топай, куда твоя душа пожелает.

Спиртонос был невысокого роста, худой, но, видно, жилистый и выносливый, да и не мог он быть иным – чтобы по тайге с грузом шастать, сила нужна немалая. Обо всем этом

---

<sup>11</sup> Спиртоносы – тайные торговцы водкой и спиртом.

успел подумать Земляницын, когда потянул к себе мешки, лежавшие в снегу. Потянул и сразу насторожился – очень уж они оказались тяжелыми, и явно не спирт был в них налит. Едва-едва растянул хитрые завязки и обомлел – не спирт плескался в мешках. Оба они были нагружены золотом.

Земляницын затащил завязки, присел на корточки перед спиртоносом, который прижился спиной к толстой сосне и дергал связанными руками, пытаясь освободиться. Но Земляницын свое дело знал: если уж связал, развязаться – дело дохлое. И спиртонос, видно, понял, что освободиться ему не удастся, перестал дергать руками, затих и даже отвернулся.

– Ну, уж нет, личико-то не отворачивай! Рассказывай – откуда золотишко тащишь?

Спиртонос, упорно не желая смотреть на Земляницына, молчал.

– Ладно, пытайся пока не буду, до места доберемся, сам расскажешь. Поднимайся!

Когда спиртонос поднялся на ноги, Земляницын подал ему лыжи, затем навьючил на него тяжелые мешки и заставил идти по проложенному следу – в обратную сторону, к прииску.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.